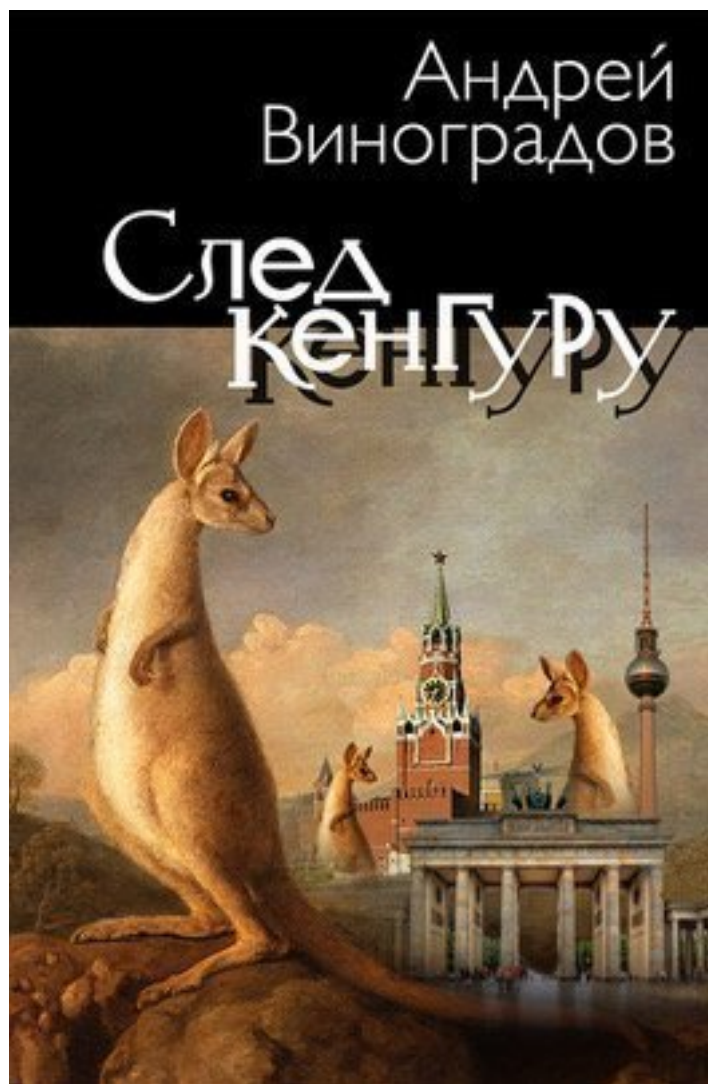


Андрей
Виноградов

След
Кенгуру



Андрей Виноградов

След Кенгуру

«Автор»

2019

Виноградов А. Г.

След Кенгуру / А. Г. Виноградов — «Автор», 2019

1989 год, считанные дни до падения Берлинской стены. Молодой полковник Антон Кирсанов, сотрудник советских спецслужб, работающий в ГДР, неожиданно получает приглашение в Москву для участия в ноябрьском параде на Красной площади – на главную трибуну страны! Накануне в его «епархии» происходят инициированные самим Кирсановым умопомрачительные события, невероятная авантюра, непосредственные участники которой – обитатели Берлинского зоопарка и коллеги Кирсанова. Инцидент этот запросто может поставить крест на карьере героя либо придать ей новое ускорение. Что же ждет Кирсанова в Москве? Читатель вместе с героем теряется в догадках почти до самого конца повествования... Автор весело и умело ведет нас по серпантинам судеб героев романа: офицера спецслужб и его соратников, жуликоватого гэдээровского переводчика и его белой мыши, посиневшего от мечты мрачного индуса, бежавшей с Запада на Восток проститутки, гинеколога-недоучки и, конечно, гигантского австралийского кенгуру...

© Виноградов А. Г., 2019

© Автор, 2019

Содержание

Вместо пролога	6
Навскидку	6
В день премьеры	7
Жертва режима. Не хухры-мухры!	10
Обожает Антон Германович не меня	12
Молодые были, неумные	13
Часть первая	14
Все ближе и ближе красная площадь	14
Так и подумал о себе без всякой скромности	16
Еще бы и в собственных ощущениях разобраться	19
Сатирику многое позволено	20
Достало все	21
Третьего дня не повезло	23
Разухабистое застолье на двоих	26
Не день, а помойка	28
В один из таких дней – помоек	29
А рыжие в самом деле пахнут особенно	31
Совсем другое дело	34
Не к совести и разуму	36
Мыслишка отступиться	38
Чай – не человек, чай, ему хорошо	40
Так снова досталось несчастному дню	41
Судорожные метания мысли	43
Лучший Антошкин друг	47
Дядя Леша	49
Разговоры на трудные темы	52
Бытует мнение	53
Как выскальзывать из материнских объятий?	55
Истребитель вкуса и кухонный инквизитор	57
Вскоре случилось лето	61
Про удаленный зуб Шура Фишман не знал	62
Как же выглядел тот значок?	63
Память Антона Германовича не так ленива	64
Азиат	65
Кенгуру	67
Ленинградский окоп	69
Столько всего поменялось	70
Почему вдруг именно Вацлавах	72
Неужто опоздал?	74
Так и так не стоило с зятем договариваться	77
Написал эти слова и затосковал	79
Взвесь	83
Хорошо различимы неясные вибрации	84
Не хочет, старый, съезжать	85
Я всего лишь одна из судорог уходящего мира	86
Странный туман стелется подле стены	87

Бестолковый	88
Часть вторая	89
Пеший строй парада	89
Навряд ли Антон Кирсанов отчетливо различим	91
Побоище на детской площадке	92
К папахе судьба милосердия не явила	95
Учебный процесс убивал героя	97
Иногда Антон мечтал стать безотцовщиной	98
Собачье чувство	101
Несмотря на восторг и удовольствие	103
Форменные безобразия	104
И стояла она, где и сейчас	106
Школьники лютовали	108
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Андрей Виноградов

След кенгуру

Вместо пролога

Навскидку

Навскидку выходит, что совершенно напрасно событие, происшедшее в Берлине осенним вечером тысяча девятьсот восемьдесят девятого года, стало поводом для досужих сплетен и фантазийных домыслов. В самом деле, что уж такого необычного, удивительного случилось? Ну пьяный дурак в компании себе подобных каким-то диковинным образом очутился на территории зоопарка в то время как на ворота его уже навесили здоровенный замок, охранявший покой меньших братьев, утомленных вниманием больших. Может, хитрым лазом воспользовались, проникли, подуматься захотелось, детство вспомнить? Или по билетам зашли, как все граждане, но потом, впечатленные многообразием мира и пивом разнообразной крепости, задремали под образцом редкой флоры, занесенной сюда из экзотических мест, а сторожа, раззявы, их проглядели? Любой вариант годится. Тот, кого означили дураком, первым очухался и в расстройстве похмелья учудил мелкий дебош у вольера с кенгуру, в каком дебоше сам и пострадал. Эка невидаль, в зоопарках и не такое случается, за какие такие заслуги главному гэдээровскому быть исключением?! Ведь не секрет, что в зоопарках люди и звери идут как бы встречными курсами – звери понемногу очеловечиваются, люди же... В общем, понятно. Повезло горе-герою, что уцелел, хоть и покинул ристалище не на своих двоих. Еще фарт, что друзья-собутельники вовремя пришли в себя и тотчас же обнаружили недостачу в живой силе.

Словом, заурядный сюжетец, на пару скучных, необязательных фраз в колонке происшествий, дабы потешить неведомого пенсионера стотысячным поводом проворчать несогласное: «Дожили». Сдержанно проворчать, немцы ведь.

И все, вроде бы, просто и ясно, но вот вопрос камешком в башмаке: откуда в таком случае, из каких-таких глубин вдруг всплыл форменный триллер, увлекательная история про матерых агентов спецслужб, потасовку между людьми и животными, головокружительную погоню, чуть было не приведшую к смертоубийству, избежать которого удалось лишь по счастливой случайности? Ах, вот оно что!?! Ну конечно. Хитрюга экскурсовод все придумал! Стажер непутевый, грезящий лаврами сочинителя. «Проба пера», так сказать – рискнул побаловать охочую до сенсаций публику рассказами домашнего приготовления, их потешить и себя заодно развлечь. Допустим. А может быть, это зебры, расквартированные по соседству с кенгуру, нашептали фантазеру то, чего не было? Зебры – они те еще выдумщицы, особенно по части ужасов. Друг дружке в детстве кошмаров понарасказывают, потом всю жизнь доживают в испуге. Никаких полутонов, во всем черно-белые. Не похоже? То есть, все вопросы к экскурсоводу? Ну-ну. Где его теперь сыщешь... Пропал куда-то после премьеры, на следующий день и пропал.

В день премьеры

В день премьеры, то есть в тот самый день, когда стажер решил скуки ради позабавить публику интригующей, можно сказать – невероятной историей, возле вольера, где в одиночестве обретался кенгуру, посетителей оказалось трое. С гидом – четверо. Животное, приблизившись к ограждению, придирчиво осмотрело пришельцев и, кивнув, отошло подальше, отнесся, по-видимому, эту группу к разряду малочисленных и тем самым не заслуживающих большего знака внимания, чем короткий кивок. А возможно, таким образом кенгуру просто_страхнул с морды муху или соринку.

Троица молча, не перебивая, выслушала молоденького, старательного, поначалу заметно нервничавшего, однако же постепенно вошедшего в раж экскурсовода. При этом слушатели выглядели слегка ошарашенными, и больше других – женщина. Словно находясь в глубоком трансе, она вяло переводила взгляд с добродушного, сидевшего неподалеку зверя на табличку с информацией о его породе, родине и так далее... На кенгуру, потом назад – на пылающее еще не отошедшим энтузиазмом лицо юноши, и так несколько раз.

– Элиза, – услужливо подсказал экскурсовод, словно сомневался в зрении посетительницы. При этом он огляделся по сторонам и почему-то перешел на шепот, словно строжайшую тайну поведал:

– Э-ли-за.

– Элиза? – тоже одним губами переспросила женщина.

– Зовут его так. Элиза.

– Элиза, – еще раз повторила женщина и, будто стряхнув с себя несвоевременную сонливость поинтересовалась с опаской: – Мы далеко от выхода? И почему это он?

– Что. он? – удивился гид.

– Почему Элиза – он?

– Кенгуру мужского рода, даже если особь женская. Такая особенность.

– Да уж. – фыркнула женщина.

Возможно, она добавила и еще что-то более внятное, от души, призванное вразумить незадачливых богов лингвистики, но юноша не разобрал. Немудрено: троица удалялась поспешно, без оглядки. Ни заинтересованности, ни недоверия, ни ироничных комментариев, ни простого спасибо, наконец. Вообще ничего. Будто приснилось экскурсоводу, что разыграл он зловещее действие. Конец экскурсии. Баста. Тут стажера и затопила обида, а в ней, как водится, быстро тонут любые предчувствия, дурные в первую голову, потому как тяжелые.

Собственно, и счастливы-посетители не догадывались, что это их ангелы-хранители расстарались, подучили проявить безразличие, попросту говоря – спеленали уместное любопытство.

Их – не ангелов, разумеется, а ничем не примечательных, заурядных гостей зоопарка, «те, кому по службе положено» вычислили днем позже, сутки еще не минули. Неизвестный доброжелатель расстарался и с утра представил туда, «куда следует», подробный и довольно объемный отчет о странностях содержания недавней экскурсии, надолго застрявшей у «кенгурятника» (так и написал). В силу уже упомянутых обстоятельств, текст доноса выглядел стенограммой сольного выступления гида и мог бы пригодиться автору на случай похода за литературной славой, но увы – автору копия не полагалась.

Согласитесь, здорово было бы вести практику рассылки героям доносов копий вторыми-третьими адресами. Вроде как заложил, но по-честному, готовьтесь.

Что забавно, экскурсовод, парень вроде бы внимательный, да и зрение – единица, никого вокруг не заметил: ни своих, ни посторонних. Просто чудо какое-то, настоящие шпионские игры. Но кто бы там ни ворожил, одним-единственным чудом эта история не ограничилась.

Видно, акция проводилась в то время – «Получите два по цене одного». Хотя, какова она, цена чуда? Наверняка, вошли во вкус и еще чуток вмешались в земные дела небесные патроны (или патронессы) известной троицы. Иначе как объяснить, что люди, обученные и уполномоченные принимать ответственные решения, вдруг раз... – и отказались от каких-либо действий в отношении упомянутых троих граждан Германской Демократической Республики, не по своей воле, однако же оказавшихся посвященными в то, что и глухо-немым слушать не следует!?

Эти обученные и уполномоченные даже не сочли нужным себя обнаруживать, чтобы пальчиком там погрозить в случае разглашения. Или по попке: «Ата-та!» Адрес, биографии, круг знакомств, увлечений, влечений, хронические заболевания, диету, режим питания, особенности стула выяснили. на всякий случай, да и махнули рукой: «Пусть идут к черту, с их тревогами по поводу месячных и поносами после искусственного питания. Подумаешь, понесут в народ небылицы. Да сколько угодно!» Смело? Да, и даже отчаянно. С другой стороны, ну кому придет в голову поверить не укладывающимся в голове рассказам матери-одиночки с двумя грудничками-близняшками в широкой коляске – такой была троица в тот злополучный день в зоопарке.

В конце концов, эта дамочка даже с отцовством своих отпрысков толком не смогла разобраться. Две семьи запугала до истерик, гастрита и разбитой посуды, одну – до развода, посуда тоже страдала. А холостой врач-офтальмолог вынужден был публично признаться, что с юности, после перенесенной на ногах свинки-кори – он патентованный импотент. В качестве доказательства – весьма экстравагантного, однако приятного публике, забредшей от нечего делать на судебное разбирательство, – им были призваны четыре свидетельницы из медсестер, чье появление в зале суда вызвало трепетное волнение. Прежде всего среди мужчин. Впрочем, и женщин явление не оставило равнодушными: одни враз приосанились, другие поклялись не жмотничать и потратиться на спортзал, ну а самые самокритичные недвусмысленно пинали локтями, коленями своих мужчин: «Я тебе сейчас поглазею, котяра!» Нимфы понуро (офтальмолог – завидная партия) и не краснея (медсестер трудно смутить) свидетельствовали в пользу ответчика, а судья, человек во всех отношениях выдержанный, нервно ерзал в своем кресле, испытывая подзабытые неудобства в паху, и даже придвинулся ближе к столу, чтобы конфуз не открылся случайному взору.

Словом, мать и пара ее малолетних наследников с неустановленной генеалогией реальной опасности для демократического отечества не представляли.

С экскурсоводом обошлись не так нежно. На него вообще мыслей не тратили, даже не потрудились прикрыть произвол благовидным предлогом для расставания: стажер, что с него взять!? Личность юезответственная, к тому же записной враль, как выяснилось. Уволили в одночасье, и все. Сократили вместе со стажерской ставкой. Хотя нет, не все. Еще письмо накатали в ячейку Союза свободной немецкой молодежи, то есть в тамошний комсомол. И копию – по последнему месту учебы. Так, мол, и так, товарищи, свободная немецкая молодежь, проморгали вы в своих рядах несознательного болтуна. Приходится теперь старшим товарищам исправлять ваши ошибки, тратить силы, время и народные деньги.

Вспомнив про деньги, лишили дирекцию зоопарка премии.

К слову сказать, среди служащих берлинского зоопарка не только стажер, ставший жертвенным агнцем, обладал живой, неумной фантазией. Больше того, по неведомой странности, в фантазиях этих, в одночасье одолевших самые разные головы, неожиданным образом совпадали детали, и могли они с легкостью и непринужденно западать в выстроенную горемыкой конструкцию предложенного экскурсанта повествования, случись возможность такого сопоставления. Будто все одновременно поддались таинственному внушению. Хорошо еще, что зарок с кем ни попадя не делиться обретенным в ходе внушения, им внушили гораздо раньше. В общем, ветеранам хватило ума молчать. И никто не предупредил новенького. А о чем, спрашивается, предупреждать, если не было ничего?

Коллективу было объявлено, что стажера уволили за «профнепригодность». «Потому как шепелявый, каша во рту», – пояснили, чтобы никто не подумал чего другого. По правде говоря, парень и в самом деле отчетливо произносил лишь три слова – «шиншилла», «шаурма» и «штази». Ну может, еще с десятков – другой не шибко-то находивших употребления в каждодневной жизни. А «шиншилла» – из самого что ни на есть обыденного словаря? Вроде бы и резонное недоумение. Однако же, о зоопарке речь. Никто из служащих причине увольнения не удивился и на руководство не возроптал. Удивлялись, когда такого насквозь шепелявого в экскурсоводы зачислили. Птички с проводов щебетали, будто он доводится сыном новой директорской пассии, но птички – они существа безответственные и до крайней степени легкомысленные. Да и вообще – какая разница, чей он там сын?! Это ветерану простительно какие-то буквы не выговаривать, а остальные глотать. Ветерану вообще много чего простительно. А тут – на тебе! – стажер такое себе позволяет. И как часто случается в жизни, вахта жалости завершается рассудительным: «Вот и поделом балабола турнули!»

Кстати, сразу вслед за увольнением бедолаги сама мать-история озаботилась сократить безупречно поддающиеся ему слова с трех до двух, напрочь исключив «штази», за дальнейшей ненужностью. Впрочем, есть в этом утверждении толика излишней доверчивости и склонности к романтическому восприятию мира.

Жертва режима. Не хухры-мухры!

– Жертва режима. Не хухры-мухры! По нынешним временам – серьезная биография. Любопытно, как он нынче устроен? Кто-кто? Собака в пиджаке. Друг мой, ну что ты тупишь?! Я о твоём стажере несчастном- разнесчастном. Наверное, в Бундестаге теперь заседает. Типа наших. Таких же. Или их сподобили уже на выход коленом под зад, как мы любим? Я что-то не проследил. Наверное. Там теперь публика, судя по ромам. А? Ну извини, увлекся.

Я, конечно же, был в курсе, что есть вещи, о которых в квартире Антона Германовича говорить не следует. В очереди – можно, в курилке – запросто, на радио, если правильную станцию выбрать – будьте любезны! А в квартире у Антона Германовича – не стоит. Возможно, традицию блюдет, есть нем немало от брюзги-консерватора. Но мне-то какое дело? Мое дело – уважать правила дома, куда пригласили.

– Понравилась, значит, тебе моя история. Что ж, я рад.

– Знаешь, Антон, как-то все удивительно просто. Я бы даже сказал: замечательно просто. И мило. И совершенно неясно, зачем ты рассказал мне историю, которой. Я, прости тупицу, так и не понял, была ль она все-таки, или. Или как? По-твоему, выходит.

– А «по чьему» еще может выходить?

– Забыл ты, душа моя, Антон Германович, что кое-что известно мне обо всем этом. Вот так-то, батенька! Что, удивил?

– Можно и так сказать. И от кого же, если не секрет.

– Какие у нас, простых смертных, секреты? От Шульца.

– Серьезный источник. Гений подлогов, магистр эзотерики.

– А ты зря ехидничаешь. Ты ведь с ним в том самом восемьдесят девятом и познакомился, я помню, Шулец говорил. И наверняка неспроста. У вас ведь там.

– Эй!

– Понял-понял, не мое дело. Так вот, а я Шульца на сто лет дольше знаю, с восемьдесят пятого. Ну, может шестого, это неважно, все раньше, чем ты. Он на стажировку в Москву приезжал. Восторженный такой, дубина! Пересеклись случайно в какой-то компании.

– Ты говорил.

– Я?

– Или он. Ладно, уймись, он и мой друг, если ты об этом. И, кстати, ничего дурного в его жизни не произошло, если ты и об этом тоже, хотя и могло произойти, врать не буду, запросто могло. А вышло, что наоборот – в гору пошел наш парень.

– Классно ты меня с темы подвинул, снимаю шляпу. Чему лыбишься?! Назад давай! Тебя послушать, так выходит, что однажды утром уборщик обнаружил пробоину вместо двери в домике кенгуру, а в самом вольере наткнулся граблями на брошенный пистолет Макарова с полной обоймой. Так? Не слабо! Он, понятное дело, позвонил куда следует, тут же нагрянули специально обученные добры молодцы в штатском, типа тебя.

– Уел.

– Типа тебя. Закрыли зоопарк, изъяли злополучную пушку, забрали записи с камер, всех опросили с доброжелательным пристрастием, осмотрели с ветеринаром Элизу и, удовлетворенные физическим состоянием животного, но совершенно расстроенные неясностью происшедших событий, убрались восвояси. Я правильно излагаю?

– В общем и целом. Как минимум, литературно. Никаких тебе «натырили», «запрессовали». Надо признать.

– Благодарствую за признание. Но ведь неужели не чувствуешь, какая из всего этого вышла тошнотворная, ну просто жутчайшая скукотища? Выломанная дверь, огнестрельное оружие в траве – рутинка для немецкого зоопарка.

– Ирония. Я понимаю.

– А все остальное – выдумки сбрендившего фантазера, который и рассказать-то толком ничего не мог?

– Это еще почему?

– Да потому что ты сам сказал: каша у него во рту! Ну-ка постой. Скажи «шаурма», а потом «заусеница»?!

Антон Германович от души расхохотался.

– Да ну тебя к черту. Ты же помнишь, каким я был три года назад. Какой, к черту, из меня стажер?! Староват я был для стажера! Полковник- стажер берлинского зоопарка. Ну уморил. Шаурма. Доволен? Я тебя обожаю!

Обожает Антон Германович не меня

Обожает Антон Германович не меня, а эти свои игры: навалит на тарелку наживки, а главное блюдо «на потом» притопчет. Нормальное, в общем-то, дело, вот только у меня к тому вечеру, о котором речь, а это лет двадцать назад было, этих его «на потом» скопилось жизни на полторы, если по разу в неделю в гости захаживать.

– Колись, как ты во всей этой истории прописался. Не верю.

– Стоп. Отличная мысль. Спонтанная, тем и ценна! Давай за Станиславского по соточке, а потом чайку с пряниками.

– Антон.

И вот тут, в этот самый момент я и уловил в глазу приятеля эту его чертову искорку. Блеснула на мгновение, на долю секунды. Не выдержала, тщеславная – пусть недолго, но покрасуюсь! Так и попалась. У завязтых троечников, нечаянно заработавших пятерку по пению или рисованию, вот такие же «чепушинки» мелькают в глазах, когда предвкушают они, как озадачат предков прямо с порога: «Никогда не догадаетесь, что сегодня у меня в дневнике!»

– Что «Антон»? Я Антон. То есть ты надеешься, – Антон Германович испытующе оглядел меня от разношенных тапочек до взъерошенных на макушке кудрей, – что вот так, можно сказать, ни за что ни про что, «за просто так», я открою тебе строжайшим образом охраняемую государственную тайну?

– Ага! Значит, есть тайна!

– А то!

– Я все понял. Насчет «за просто так» – это я за десять минут управлюсь, если на очередь не нарвусь. Мне только переобуться.

– Мои кроссовки возьми, так быстрее выйдет.

В тот вечер мне еще дважды пришлось бегать в гастроном. И еще один раз я поймал такси, багажник которого оказался натуральным Клондайком по части выпивки, так что ездить никуда не пришлось, хотя съездить и было дешевле. Но дольше. Да ведь все в радость, когда по молодости.

Молодые были, неумные

Молодые были, неумные. Сейчас и бегать не в жилу, и ездить лень. В такси под акцент водилы раболепно подделываемся, дабы не раздражать лишний раз, хотя именно этим и дразним. Побочная роль таксомотора – лавки на колесах, полные желанных чудес, благополучно почил в бозе. Да и пить столько – здоровья уже нет. Но что хуже всего: истории, похоже, все уже пересказаны. Разве что вот эти остались.

Часть первая

Хандра, наваждения и всякое разное

Все ближе и ближе красная площадь

Все ближе и ближе Красная площадь. Все больше и больше чувствуется весна, на дворе двадцать двенадцатый год; приход весны в целом приятен, как предвкушение, а о годе такое не скажешь – глупо как-то и не понятно: чем виноват предыдущий? в чем интрига наступающего? Нет, конечно же, нет ни вины, ни интриги, и что волнует – заранее predetermined.

Все отчетливее таинственные колебания воздуха, природа которых Антону Германовичу пока не ясна, но они ощутимы, и он точно знает, что нужно делать: набраться терпения и идти, идти, идти. Степенно, неспешно, заложив руки за спину – так проще держать спину ровной, не сутулиться, то есть не вызывать скорбные оханья-аханья и упреки жены. Пусть и нет ее сейчас рядом, важно не выходить из формы.

Он так и идет по Манежной. Мимо казненной гостиницы и собранной по правую руку модерновой сцены, возле которой уже народ толпится, понимающий, кому именно суждено через час-полтора, а может, поближе к ночи на эту сцену подняться. Антон Германович тоже знает это имя и поэтому не решил еще для себя, останется ли на митинг. Ну и. толпа – это не его, а в том, что толпа будет грандиозной, он не сомневается, в курсе, как этот мир устроен. Да и что скрывать – знает, сколько автобусов отрядили на мероприятие. Вот и арка Воскресенских ворот, воссозданных с бездарным запалом, с коим стало уже привычным смущать небо и граждан, живущих под этим небом в границах российской столицы. «А не в Москве еще хуже, поскольку денег таких у провинции нет, а где есть, как, например, в Питере, так и там такое же, прости господи, лепят», – привычно укоряет время и провинциальную нищету Антон Германович. Он чувствует себя окруженным сорными памятниками падкой на «новодел» эпохи, безвозвратно – по крайней мере, что касается ныне здравствующих поколений, – растратившей вкус. Антон Германович в самом деле думает именно так. При этом он совершенно уверен, что суетливая толчея, частью которой он вынужден стать, по сути своей есть не что иное, как движение единомышленников, возможно, и не сознающих себя таковыми, а потому движущихся столь беспорядочно. Вот кто-то из идущих навстречу ненамеренно, однако чувствительно задевает Антона Германовича тяжелым портфелем, и Антон Германович инстинктивно приостанавливается, чтобы потереть ладонью ушибленное колено. Первая мысль: произнести что-нибудь в спину невнимательному и невежливому. Но поди ж ты, разбери, где спина, ответственная за содеянное? Которая из?

А уверенность Антона Германовича в том, что ворота, ведущие на Красную площадь – уродство, а сама площадь – место недоброе, поколебать не в силах никто и ничто. Ни маститые москвоведы, считающие вновь рожденные Воскресенские ворота очевидной архитектурной удачей. Ни старинный и уважаемый знакомец из редакции «Нового мира», что объяснил Антону Германовичу про «визги-писки» вышеупомянутых москвоведов, а затем с милой непосредственностью и насмешливыми расшаркиваниями взял да и ткнул носом в «избирательную слепоту, понты и старческие капризы, ублажать которые бессмысленно, поскольку они бесконечны как жизнь грибницы». Ни, наконец, гости столицы, совсем не дежурно, то есть по обязанности, а вполне себе восхищенно шелкающие мобильными телефонами, дабы запечатлеть и сохранить в электронной памяти исторический момент их пребывания возле этих самых Воскресенских ворот; теперь это означает, что и в человеческой памяти тоже.

«Прирастают наши мозги «железом», а хрен толку? Раньше тупели, теперь еще и ржавеем, тупо ржавеем. Прогресс, туда его в качель, раз уж выбрался из колыбели», – думает Антон Германович и недовольно морщится. И колено, зараза, никак не отпускает. «В нерв, что ли, попал? Хотя даже доктор говорит: «Дорогой мой, нервы у вас, с позволения сказать, в заднице!» Значит неоткуда им взяться в колене».

Некоторые граждане из толпы, в основном мужчины, поглядывают на Антона Германовича с недоумением: не тот день, чтобы так выразительно морщиться, и уж не здесь и не на публике – это точно! Он пару раз ловит на себе эти взгляды и невольно, будто бы в оправдание, еще раз приостанавливается, чтобы потерять колено, хотя коварная боль уже спряталась до лучших времен, сделала свое грязное дело и спряталась, стерва. Про себя он ухмыляется: с одной стороны, вполне заслуживают службисты в штатском его похвалы за внимательность, но с другой – изрядно скуп Антон Германович на похвалу, да и как-то не вписывается это в его отношение к сегодняшним дням в целом. Так что ухмыльнулся про себя, тем дело и кончилось. Внимания Антон Германович как раньше уже не привлекает, ему это ясно, а значит не зря пришло в голову намекнуть «заинтересованным лицам» на причины расстройства и, соответственно, недовольства, отразившегося на лице. На этот раз он предпочел на эпитетах не экономить и объявил себя «молодцом».

Так и подумал о себе без всякой скромности

Так и подумал о себе без всякой скромности: молодец. Однако же – и тут на скромность плевать, как и на сдержанность, – задевает «новая» Москва Антона Германовича. Больно-пробольно задевает. Прямо по сердцу царапает. Намного чувствительнее, чем тяжелым портфелем по колену заполнить. Вроде бы и не эстет, запросто может накатить водки с пивом под печенюшку. Если по большому счету, то и не брюзга тоже. Москвич. Правда, нынче все «сплошь кругом» – москвичи. Самые главные, первостатейные москвичи – это питерцы, хоть и делают вид, что им все здешнее чуждо – просторы, нравы. Если совсем по-честному, то есть без скидок, москвич Антон Германович скорее уж. номинальный.

«Номинальный» – слово казенное, мертвое, припахивает фиолетовыми чернилами и химическими карандашами, каких и не делают уже, наверное, лет с полста, или чуть меньше. Такими выведены первые записи, засвидетельствовавшие Антона Германовича и мое, его давнишнего товарища, появление на свет. Странно, что чернила за долгие годы почти совсем выцвели, и теперь строки тех метрик похожи на следы неудачно сведенных татуировок, а вот запаху ничего не сделалось, запах остался. Сохранился, цепкий. Что же такое стойко пахучее подмешивали в эти грифели? Владел ли я когда-либо такими оказавшимися сейчас важными сведениями? Не помню. Память – удивительно удобное место для прятков. Прятать и прятаться. Находить и находиться в ней трудно, а прятать и прятаться еще как легко. Вот бы в детстве-юности подмешать такую же неистребимую временем субстанцию к идеям, надеждам и помыслам, чтобы не выветрились.

Итак, номинальный Антон Германович. Номинальный, в смысле, москвич. Кондово звучит. Что поделать, если никак не подворачивается иное определение, более благозвучное? Если соскальзывает оно где-то внутри, срывается? Не «липовый» же, ей богу?!

По месту рождения Антон Германович безусловно москвич. Детство тоже провел в столице, раннее детство. Потом съехал, то есть переезжал с места на место, и все вдали от Москвы. Затем – случилось! Вернулся-таки. И уже давно. Ну и так по всему вытанцовывается, что станет Москва местом течения его старости.

«Течение» – это личное Антона Германовича определение. Его, что удивительно, не настораживает проглядывающая в слове зависимость, подневольность, безучастность. Мне думается, насколько я знаю Антона Германовича, это должно было бы его насторожить, однако ему видней, пусть сам, раз выбрал такое слово – «течение» – оценивает свои перспективы. Мне нет никакого резона вмешиваться. В конце концов, каждый стареет по-своему, *по своему уму*. И по здоровью. Кстати, нынче вдруг стало обыденным дополнять этот перечень «возможностями»: «. но главное – по возможностям, друзья мои, по возможностям.» Обычно в тостах это «алаверды». Лица за столами выражают глубокое понимание и такую же – эхолотом не вымерить – скорбь.

К чему печалиться? Простое же уравнение: если достаток позволит, то уму на старости лет каникулы выпадут. А ведь со школы известно – что у нас от ума! Выпил бы прямо сейчас и за сказанное, и за достаток. Как следует выпил бы, с улыбкой. Но еще очень рано, и мне хватает ума одолеть искушение. Словом – страдаю, горе у меня. Вот куда «течение» завело.

Ну а с тем, что старость «еще то давилово, особо не побрыкаешься» (тоже реплика Антона Германовича, однажды он попытался объяснить мне, любопытному и недоверчивому, про «течение») я воздержусь спорить. Чувствую, прав он по сути, неприятно прав. При этом сам еще как «брыкаюсь», сопротивляюсь, пыхчу, дым валит. Впрочем, самое время признаться, что мое «наивное сопротивление», равно как и «мудрая готовность» Антона Германовича отдаться «течению» – не более, чем рекогносцировка, тренинг. До настоящих «стартов» еще не дошло. С десятков сезонов, бог даст, еще впереди. Старость – это пока не мы. О мебели в

таких случаях говорят – «искусственное старение». То есть, при желании все еще можно вернуть к относительной новизне – там полирнуть, тут шлифануть, здесь подкрасить. Как-то так. Не краснодеревщик, но мысль, кажется, донес.

Под сенью Воскресенских ворот Антон Германович отчего-то мимолетно думает о старости и слегка увязает; его ненадолго увлекает вопрос: с какого момента ее, старость, можно считать безраздельно вступившей в права? «Наверное, – думает он, – когда начнут без извинений выставлять из очереди, чтобы «не заслонял», обзывать «пролежнем».»

Кстати, это прозвище придумал я для одного действительно пожилого джентльмена, заявившего, что, пока все вокруг свои пенсии «транжирят» и «прожирают», он свою «пролежит лежнем», тем самым сильно сэкономит к лету и съездит, наконец, к сестре на Дальний Восток. Если дотянет до лета, понятное дело. И ведь, упертый, «пролежал», пользуясь моей добротой, харчами и библиотекой. Съездил.

«А еще, – продолжает размышлять Антон Германович, – старость – это когда соседи, еще недавно приветливые, повадятся при каждом удобном случае зыркать хищно в твою приоткрытую дверь, примеряя к чужим стенам обои, купленные для грядущих ремонтов. И ведь знают же, собаки, что стариковские квадратные метры двадцать лет как приватизированы, да и «старикан» вовсе не одинок. А что если всего лишь прикидывают, не возьму ли десяток рулонов со скидкой?» – неожиданно хохотнул он про себя. Даже наружу прорвалось немного. Вроде как кашлянул, не успев заслониться перчаткой. В общем, как-то неловко вышло. У людей, склада Антона Германовича, благородство осанки, манеры подразумеваются, как нечто само собой разумеющееся. Сомнительное, надо признать, преимущество, если живешь и трудишься по большей части в окружении измотанных, суетливых торопыг и отдельным инструментом вытесанных монументальных хамов. Особенно если и в самом деле обладаешь манерами, а Антон Германович в этом смысле редко разочаровывал – бабушки у подъезда при виде его умилялись привычно. Но мог и другим предстать, когда обстоятельства требовали.

«Литературная какая-то история выходит со старостью, – подавил он очередной, готовый прорваться наружу смешок. – Правда, с чистотой жанра вышел напруг, мешанина, тут тебе – драма, там – водевиль. Да и вообще, что-то зачастил я последнее время с этими мыслишками. Рановато будет! Стоп!» – старается он подсобить вяловатому и продолжающему самопроизвольно скисать настроению, поддать в его топку здоровой злости.

– Прочь подите! – вполголоса грозит мыслишкам Антон Германович, быстро скашивая глаза вправо-влево: никому до него нет дела? Нет, слава богу.

Все это, однако, наигрыш. Хорошего настроения как не было, так и нет.

«Вот же сволочи!» – невольно думает он о соседях. Не о только что выдуманных, с припасенными на шесть жизней обоями, и не о конкретных, среди которых числюсь и я. Антон Германович забирает широким гребнем, он мыслит вообще, в принципе – о людях, подгадывающих, чем бы, как и где насолить ближнему. О тех, кто способен нагромоздить, презрев права и недобрый прищур соседей, в неделимом коммунальном предбаннике пару велосипедов, стремянку, лыжи и гору отслужившего, изгнанного за пределы жилья скарба, оставив лишь узкий проход, траншеею, ведущую в два соперничающих блиндажа. И это еще не конец. В предбаннике обоснуются еще и банки с соленьями в компании с прикрытым марлей бочонком с квашеной капустой. Из бочонка капустный дух лезет сквозь щель под дверь в квартиру соседей, и уже все там внутри – мебель, одежда, полотенца призывно отдает закусью, даже стены пропахли. В общем, засада: либо принять вызов и спиться, либо спасовать – и с соседями в драку. Самому Антону Германовичу судьба такими сюжетами жизнь не приперчила, пощадила, да и в квартирах, где коротал он годы, всегда прихожие были площадью на три, а то и на четыре жилища. В этом случае банкует другой закон, «против кого дружим» называется, тут не один на один – сильный против слабого, не забалуешь, вмиг коллективом укоротят. Отнюдь не всегда, кстати сказать, фигурально. А вот дочери его младшей, Ксении, повезло меньше: пожаловалась

днями отцу на произвол соседей. Отсюда и осела в его памяти пресловутая квашеная капуста. Забудешь тут, если дочь сетует, что муж ее под капустный дух принялся водочкой по вечерам баловаться. Это при том, что раньше только коньяк пользовал, да и то раз в году, не чаще.

– А как ты хотела? – в тот раз пожал плечами Антон Германович. – Если и в самом деле пахнет, как рассказываешь. – При этом вспомнил про значенную в морозилке бутылку белой и скрытно проглотил слюну. – Так ведь это форменная провокация. Ну и рассказчица ты, дочь, не каждому дано. Талант! Вот по какой стезе надо было двигать.

– Ну пап.

Отнюдь не от невнимания к дочкиным проблемам Антон Германович так вяло, расплывчато откликнулся на ее переживания, такого не мог себе позволить. Отреагировал так в ладу с собственными представлениями о справедливости: зять-то, оказывается, нормальный, по всему выходит, мужик, а он, Антон Германович, обидно его недооценивал. Вот и не стал торопиться, разобраться следовало. Но и боль, с которой примчалась кровинушка, не растворилась в мужской солидарности, выпала-таки в осадок: решил, что заедет на днях к младшей и побеседует – сперва с соседями, потом с зятем. Или нет. Сперва обмоют воцарение мира в предбаннике – в результатах визита к соседям Антон Германович ни на йоту не сомневался, – а потом можно будет и о пьянстве поговорить. При случае. Если не испарится повод для разговора вместе с капустным духом. «Заодно и проверим – в самом деле, нормальный мужик, или так – временное просветление случилось.»

– Что «пап»? Ну конечно же разберусь.

Конечно же разберется.

Еще бы и в собственных ощущениях разобраться

Еще бы и в собственных ощущениях разобраться. Повинуясь странному импульсу, уже отойдя на десяток шагов от Воскресенских ворот, Антон Германович еще раз оглядывается на них. Будто прямо сейчас, сию минуту к удивлению своему испытал потребность недовольством подзарядиться. Как сердечную недостаточность испытал – вот не хватает у сердца силенок организм обслужить, а так нужно.

– Ухо-протез Исторического музея, – ворчит Антон Германович недовольно, можно сказать брезгливо. Похоже, что ради этой фразы, сомнительной, однако показавшейся «сочной» метафорой, и оглядывался. Сравнение родилось еще на подходе, потом вытеснили его другие мысли, а теперь – вот оно, всплыло, и нужно было провериться, сопоставить. Не фонтан, на мой вкус, образ вышел, но лучшего Антону Германовичу не придумалось. Сам, надо сказать, тоже в восторг не пришел.

«Говно», – добавляет он уже про себя, мысля шире, чем об архитектуре и собственной метафоричности, чтобы поставить после всех предшествовавших размышлений жирную точку. Не выходит, облом, точка ни с того ни с сего отбрасывает тень и пририсовывает себе в компанию еще пару подобных. Так и выстраиваются они рядком, в линейку, намекают, что рано еще заканчивать бушевать, до срока сворачиваться, не весь пар вышел: «Ох, хозяин, царь наш батюшка, облегчи душу свою, обнажи ее, не таись.» Насчет «не таись» – чистой воды «гапоновщина», а в остальном Антон Германович неохотно, но повинуетя и настырно продолжает негодовать, хотя и далеко не так усердно, как начал. При этом все больше раздражается на самого себя, на свою неумность.

«Был бы танком – заехал бы со всей дури в это самое ухо!» – рождается на излете его недовольства вот такой, опять же не самый умный образ. Скорее уж кругом глупый, но простительный. Что поделат, если это самое «был бы.» у части поколения Антона Германовича засело в мозгу, как мелодия «летки-енки» со школьных времен. Шутила так детвора шестидесятых: «Если Верка со Славкой на танцы пойдет, то тогда я – автобус!» Случалось, Верки и в самом деле принимали Славкины приглашения, но тогда все шутки разом заканчивались. Для Славок, понятное дело.

– «Царь батюшка.», – юродствуя, передразнивает себе под нос Антон Германович свой же внутренний голос, самое безобидное из всех передразниваний. – Нету царства-то, кончилось. Царьковство осталось. – завершает он мысль и на удивление быстро успокаивается, словно выдохнул. Вот и точки по ходу слились в одну единственную, зато основательную, упитанную, с виду надежную. Эдакая «Мама – точка».

Если бы кто из встречных прохожих сподобился обратить внимание, показалось бы ему в первый миг, что Антон Германович вспоминает стихи, но только взгляд нашего героя обращен был отнюдь не внутрь себя, как свойственно поэтам, а – вовне. Зоркий взгляд, цепкий, колючий. Не поэтический, словом, никакой романтики. Если только сильно желчный поэт, потому как сатирик.

Сатирику многое позволено

Сатирику многое позволено. К примеру, порассуждать о придуманном Антоном Германовичем царьковстве, словно об овощном салате. Что на грядке выросло, то и построгали. В этом смысле. Антон Германович чего только ни вкладывает в это новенькое, еще не облизанное и не присвоенное политехнологами слово «царьковство».

– На царства царей зовут, на царьковства – царьков. Те вместо министров по кабинетам рассаживают министриков, начальничков, бюрократишек вместо чиновников. За церковь ратуют, будто она и есть вера. – недавно прояснил Антон Германович смысл своего лингвистического, мягко сказано, экстремизма. И добавил отчаянно, бесшабашно: – Так нам уже и без надобности. Звать, в смысле. Все состоялось.

– За сказанное? – предложил я первое, что пришло в голову. Не за сделанное же?

Антону Германовичу, если бы кто спросил, совершенно не по душе его негативное ко всему отношение. По жизни он человек не злой, по крайней мере, себя к злым не относит. Кстати, домочадцы и друзья за глаза тоже считают его добряком, но сам Антон Германович, если бы такое о себе услышал, непременно стал бы приводить в опровержение непростую свою работу, ее неизбежное влияние на характер. Мне сдается, что он намеренно путает понятия «добрый» и «добренький», однако ни за что в этом не признается, ему так удобнее.

– Ох уж мне эти ваши игры в слова... – отмахнулся однажды Антон Германович от очередного исполнителя проникновенных дифирамбов в его адрес. Ясное дело, тостующий был из младших во всех отношениях – по годам, по званию, по должности. Впрочем, осадил красная Антон Германович не зло, без досады, скорее устало – слегка наскучил ему однообразный сценарий застолья.

– Приятно, конечно, слушать такое в свой адрес, только про доброту – это не обо мне. Мы с вами люди дела: когда надо – злые, когда не злые – добрые. Такой подход всех, надеюсь, устраивает? Вот и ладушки. Выполнять! Шучу.

И в самом деле рассмеялся – задорно, примиряюще. Именинник все-таки, хозяин, во главе стола, не по чину гостей обижать, это завтра.

Шельмует, короче, частенько – сослуживцев, друзей, домашних. С его навыками наивно было бы ожидать иного.

В тот раз, на дне рождения, никто не поверил в его искренность и, само собой, не обиделся. В других схожих обстоятельствах сотрапезники тоже не очень-то доверяли «скромным» речам Антона Германовича, но, случалось, коробило их, пусть и виду не подавали – по доброте же все это, от чистого сердца, не из подхалимажа, разве самую малость, которая не считается. Ну, а когда чересчур много выпивали – такое тоже бывало – тут уж обида что есть силы рвалась на волю, приходилось веригами ее умирять. В эти дни домочадцам обидчивых доставалось, пусть и неповинных ни в чем, потому как «и в горе и в радости.» (хоть и были не венчаны), а откуда ей нынче взяться – радости-то, если «сука, начальник, с говном смешал»?

Достало все

«Достало все. А с чего, спрашивается? Капризы, – самокритично и немного даже язвительно размышляет Антон Германович о своей нелюбви к окружающему его миру. – Похоже, вывели прожитые годы из организма ген доброты, смыли. Зато желчи в теле осталось. Некуда девать! Переизбыток. Может, в самом деле послушать жену и начать принимать желчегонное? Знать бы еще, чем оно занимается в теле, это самое желчегонное. Гонит желчь. А куда мне еще? Или вовсе наоборот: прочь выгоняет, как та же Липа деда своего, если тому случилось до полного свинства упиться? То есть, через два дня на третий, а иной раз – и через день. Потом носилась по всей деревне, искала его, причитала в голос, да все больше матом.»

Наверное, первый раз за весь вечер Антон Германович улыбнулся своим мыслям. Даже взгляд подобрел. Вспомнил забавного деда в телогрейке на вырост и карикатурно натянутой на макушку ушанке – одно ухо задрано вверх, а из под ушанки – патлы, такие же замызганные и сальные, как портки, наползающие на стоптанные кирзачи. И как пылил дед, нарезая зигзаги по неухоженному деревенскому проселку. «Заячьим ходом» окрестил Липин старик свой замысловатый алгоритм движения. – «Хера с два след удержит!» – божился. Никто и не уточнял, о ком это он. Кому, кроме Липы, было гонять бедолагу? Зато всей деревне потеха. Как помер дед – баню натопил по-черному и «задохся» – говорили, Липа его дозу самогонную на себя приняла и все каялась спьяну, что только для него, окаянного, и гнала. «А он вон чё выкинул!». Меньше чем на год деда пережила, не всякая мужская работа женщинам по плечу.

Я и сам помню Липу с ее дедом – пьяницей. Познакомился, когда вместе с Антоном Германовичем в его сруб наведалься, на рыбалку ездили.

По-первости вскакивал на рассвете, стоило Липе проорать с крыльца своему благоверному:

– Куда, старый, ссать с сигаркой поперся?! Спалился, зараза такая! И нужник спалишь!

Откуда ей было знать, что дед там прихлебывал из заначки, что в хитром месте да на неприметном шнурке таилась, наполовину притопленная в дерьме. А сигарка при такой конспирации – первейшее дело: и занюхать, и дух «свежака» отбить.

Мне дед предложил однажды обмыть знакомство, но я – «городская кисейная» – побрезговал и сослался на большую нужду – работать, мол, надо, а после этого дела никак не работается. К тому же, дышал я в тот час робко, чтобы муть, осевшую после долгого пьянства, ненароком не всколыхнуть.

– Я так понимаю, запойный, – огласил дед вердикт. Правда, тут же утешил: – Ну, паря, не бзди. И с этим живут.

Уговаривать, однако, не стал. Ему, по всему было видно, только облегчение с моим отказом вышло. Я все же не удержался, задал рискованный вопрос, от которого язык распух – так чесался:

– Как же ты из говна-то.

– Нормально, – говорит. – Я же для этого дела рукомойник внутри приспособил. Моя было полезла с вопросом: «Чего, мол, старый балбес, удумал?» А я ей: «Газеты читай, дура! Гигиена при таком месте должна быть! Или штраф! Председатель лично грозился!» Ну и отвяла. У Липы, ты знаешь, не очень с грамотой. Плохо читает.

«Зато со счетом у нее полный порядок», – недобро, про себя помянул я тогда сварливую бабу. Было дело, задолжали мы ей с Антоном Германовичем за стихийный «банкет», продолжавшийся чуть дольше двух дней с участием всех, кого приносила нелегкая к срубу на запах. И вот сутки еще не минули, народ отойти не успел, а баба Липа уже дважды про деньги напомнила. Вот стерва!

А мужик у нее хоть и угнетенный, галерник, все равно – характер! Таким и запомнился.

Вот и озадачивается Антон Германович: а ну как у него организм такой же – с характером?! Только лекарства дорогушие зря переведет. И ведь уточнить не у кого. Не тащиться же с этим к доктору на прием? Да и не объяснить чужому-то человеку происхождение тьмы, что в душе скопилась; сам себе растолковываешь – и то понятно не все... Знакомых у Антона Германовича по жизни – пальцы онемеют, пока всех обзвонит в новогоднюю ночь или на День Победы, но как назло ни одного нормального врача. Кардиолог есть, венеролог там. Два нарколога, ухо-горло-нос. А нормальных, или, как Антон Германович их называет – «врачей общей юрисдикции» – ни одного. «Хотя с такой ерундой, – осеняет его, – и ветеринар, если рассудить, справится. Если рассудить и если повезет трезвым его застать», – завершает он мысль не слишком уверенно. И причина для этого есть.

Третьего дня не повезло

Третьего дня не повезло. В смысле, не повезло Антону Германовичу застать своего товарища, знатного ветеринара Илью Петровича, с безопасным для пациентов и их хозяев количеством промилле в крови. Тот, впрочем, вполне ответственно в таком состоянии никого не принимал. Закрылся на «санитарный день», будто магазин какой с бакалеей, или кафе. Вывесил с наружной стороны двери лаконичное объявление на предусмотренный исключительно для таких случаев латунный крючок, до блеска отполированный благодаря частой востребованности, и поднялся этажом выше – на второй, в свои хоромы. На лифте. При том, что лифт в доме Ильи Петровича остановку на втором этаже с рождения игнорирует, не уважает городское лифтовое хозяйство вторые этажи и их обитателей, но спуститься вниз с третьего все же легче. Непостижимая тайна лестничного пролета: если сверху вниз, то ступеней столько же, а кажется, что вдвое меньше.

А может быть, как раз наоборот – повезло Антону Германовичу, что подоспел в самый разгар чествования другом-ветеринаром чего-то вскорости безвозвратно забытого, но наверняка чрезвычайно значимого. Такого, что вспоминается вроде как совершенно случайно, но не пить неудобно. И даже умеренно пить неудобно, не принято.

В конце концов, не на здоровье пожаловаться забежал Антон Германович к старому приятелю. На жизнь попенять заглянул, огреть ее матерком, с оттягом. И встретил, что душою кривить, полное понимание и участие фактически безграничное, и по части выпивки неиссякаемое.

– Дерганый ты стал, Антошка, – заметил гостю Илья Петрович, когда настало время открытий, пришедшее на смену временам возлияний и закусываний.

– Сидор, а не Антошка, – ухмыльнулся в ответ Антон Германович. – Сидор там был, Сидор, если ты о «Неуловимых». Ты ведь на «Неуловимых» намекаешь? Так там. мнительный был. И Сидор.

– Сидор, может быть, и мнительный, а ты, Антошка, дерганый. И не намекаю. «Намекаешь»! Выбрал, тоже мне, словечко. У вас там.

– У нас.

– Шалишь, Антоша, это уже так давно без меня, что уже никто и не вспомнит. Собачки-то остались у вас?

– Да все как прежде.

– Так на сколько у вас там, по нынешним временам, намеки тянут? Как у друга детей и животных товарища Ленина? Или у того, другого парняги с грузинской фамилией, что отца ленинизма приморил коварнейшим образом, а потом и сам так же хрен знает кому поддался? Да знаю я, знаю. В расход! За намеки – в расход! И за «ненамеки» – тоже.

– Чего-то ты, Илюха, раздухарился.

– Ладно, прости. А ты ведь прав, курилка, там и в самом деле Сидор был. «мнительным», а все равно ты, Антошка, дерганый. Дерганый, я тебе говорю! Чуешь разницу? Во-о! Молодец, что вовремя подошел. Щас будем снимать твои проблемы. Слоями. Как Папа Карло стружку с Буратино. Сохраняя при этом боевую готовность и бдительность.

На самом деле Илья Петрович произнес только начало последнего слова – «бди.» – и уже на втором слоге аппетитно всхрапнул. Но Антона Германовича было этим трюком не провести, ветеринар с юности был охоч до розыгрышей. А если и случалось ему в застолье задремывать, то максимум через четверть часа распахивал глаза, будто и не закрывались они, и опять был готов балагурить, выпивать, закусывать. Божественный организм, безлимитный. Или бездонный? Впрочем, пусть создатель в терминах разбирается, а Антон Германович сколько раз перепить его ни пытался – так и не преуспел. По крайней мере, раньше все именно так и обсто-

яло. Антон Германович толкнул приятеля в плечо, и тот слегка «поехал» по спинке дивана, немного не дотянув до наклона Пизанской башни, но только захрапел громче.

Гость, пользуясь паузой, оглянулся на гигантский, старой работы буфет, который здесь использовали в качестве бара, и подумал, что если не поостеречься, то одереvenение гарантировано, а дальше Страна дураков и Поле Чудес, то есть никуда не придется двигаться.

«Может, все же лучше уйти?» – сверкнула малодушная мысль, но при дневном свете ее никто не заметил. Позже она, безрадостная, еще не раз будет являться Антону Германовичу под разными личинами: «Пошли домой?», «Не надо бы тебе больше.» А один раз заглянет в окно, прикинувшись синей неоновой надписью «Завязывай!». Прямо с того самого места, где буквально секунду назад светилась реклама магазина «Связной». Антон Германович даже глаза зажмурит, потрясенный увиденным, а когда откроет, то «Связной» уже восстановится в правах и владениях.

«Быстро как все меняется», – удивится Антон Германович, не догадываясь, что задремал под умиротворенное сопение ветеринара. Видно, перестало тому хватать четверти часа, дабы полностью восстановиться.

Возможно, не один Антон Германович наблюдал эту странную мистификацию с рекламой «Связного» – Москва большой город. Кто-то, допускаю, и внял. А мои окна, как, впрочем, и окна квартиры Антона Германовича, выходят всего лишь на другие такие же окна, и единственный «связной» между всеми нами, жильцами, – ближайший универсам. Он в трехстах метрах, за углом, так что вывеска из окна не видна, даже если в форточку по пояс высунуться. В этом, наверное, корень всех наших бед. Некому призвать, непризванными и живем. Впрочем, к чему христианскому может призвать «Ашан»?

По правде сказать, Антон Германович и не подозревал, что традиция одаривать врачей выпивкой и конфетами сохраняется и поныне. Думать забыл о таком пережитке. Даже в его ведомственную, на все замки запечатанную медицину и то проскользнула куницей коммерция, но пока не нагнела, скромничала, опасалась режимности. Однако же часы на запястьях избранных эскулапов уже непривычно сверкали, по памяти отражая яркие искры альпийских вершин.

«Ничего принципиально нового: часы и деньги сменили коньяк и конфеты», – утешил себя Антон Германович раз и навсегда выводом, примирившим его с новыми обстоятельствами.

Теперь же, разглядывая содержимое на полстворки приоткрытого бара, решил, что «жидкие» подношения – специфика зверолекарей. «Какой милый анахронизм», – улыбнулся он, отмахнувшись от надоедливой, пристающей мысли о том, сколько всего переменялось вокруг, внутри и вообще. Хватило на пару секунд. «Нынче за здоровье людей напитками не берут – поделены мы с братьями нашими меньшими на непересекающиеся миры, – подумал он и разом помрачнел: – Людьюми нынче берут». Не к месту вспомнилась прочитанная в газете история о том, как старушка малолетнюю внучку свела к дантисту на поругание, чтобы тот скобки девушке бесплатно поставил. «В самом деле. – уже в который раз по этому поводу матюгнулся в сердцах. – Что же за жизнь такая с неровными-то зубками! «Натурою», видишь ли, принимают, а вином и сладостями – нет. А ведь и их в свое время называли «натурой». Вот и слово осталось.»

– Эй, человек в белом халате!

– В голубом.

– Да мне хоть в каком. Хорош спать, Илья, гость истомился.

– Так я и не сплю, просто задумался.

– Ага. И мысли такие, что храпишь от них на два подъезда в каждую сторону. Слушай, раз не спишь. Вот скажи на милость.

И товарищ ветеринар совпал с настроением Антона Германовича на все сто. Ни малейших отклонений отмечено не было, если не принимать во внимание сложности удержания ветеринарского тела на курсе от двери подъезда к дверце такси, потом назад к подъезду. –

«Ты-то, балда, куда ехать собрался? Машка тебя первым прибьет.» Спасибо, таксист попался покладистый – дождался.

«Или. Может, все это было из старых запасов? – от этой догадки Антон Германович даже шаг по булыжнику замедлил. – Вполне может быть. От нынешнего вечно башка по утрам трещит, а тут – ничего, даже глаза не красные... И жена ничего обидного не сказала. Хорошо посидели!»

Воскресенские ворота окончательно выпали в этот миг из мыслей Антона Германовича и облегченно вздохнули, расслабились. Прохожие приняли возникшее неожиданно движение воздуха за вдох-выдох обычного ветерка. Антону Германовичу тоже полегчало, правда, по другому поводу: детали вспомнились, как посидели с другом.

Разухабистое застолье на двоих

Разухабистое застолье на двоих разгладило Антону Германовичу душу. До рассвета гуляли, как в старые времена, когда Антон Германович только- только окончил «вышку», Высшую Краснознаменную школу КГБ, и начал службу в военной контрразведке, а Илья Петрович получил место ветврача в питомнике для служебных собак. Познакомились они случайно. Присели однажды за один стол в служебной столовой, перед каждым – по два киселя, оба сластенами оказались. Поулыбались друг другу, понасмешничали, ну и свели знакомство. И вот сейчас, как в те далекие годы, точно так же – наперебой – советовали друг другу плюнуть на все и всех и не откладывая начать новую жизнь. Умничали, вспоминали про «долгий ящик» и сетовали в тостах, что не такой он уже и «долгий», то есть некуда больше откладывать, коротковат да мелковат стал ящичек, хотя ноги протянуть можно, ну такой-то размер ящичек всегда предоставит, так задуман.

– А ведь жизнь еще не окончилась... Не-ет! Давай, чтобы жилось...

Вот только никак не мог Илья Петрович в толк взять, что проблемы Антона Германовича гложут отнюдь не семейные – в семье-то все у него налажено более-менее.

– И не в службе, Илюха, дело. Со службой тоже вроде бы все ничего. Даже не знаю, как тебе и сказать. Житейские, короче, старик, проблемы.

Так и назвал их, и повторил настойчиво:

– Житейские.

Возможно, затем повторил, что самому это слово показалось слишком расплывчатым, неточным, в сторону уводящим. Попытался было собраться и разъяснить, где они коренятся, эти не поддающиеся определению проблемы, в чем? Если и в самом деле отделить их от семейных забот и дрызг на работе. Получилось сбивчиво и все больше про политику. Да что там – только про политику и выходило, а тут рассвет. Потому хлопнул себя Антон Германович ладонями по ляжкам, плеснул в обе стопки, чтобы не пустыми чокаться, прикинул, добавил еще два раза по столько и провозгласил примирительно:

– Да пошло оно все. Давай, брат, за нашу новую жизнь! И пусть их всех.

Тост был хорош, но выпивать больше не стоило, лишнее. Для Ильи Петровича – вне всяких сомнений. Так ведь и начал он намного раньше Антона Германовича. Короче, не достучался до замутненных сознаний важный вопрос.

А КУДА ЭТУ ЖИЗНЬ ПРИСТРАИВАТЬ?

«А куда *эту* жизнь пристраивать? С этой жизнью что? – в который раз спрашивает себя Антон Германович, и вопрос этот хамским образом гонит прочь приятное воспоминание о посиделках со старым другом, будто на седой одуванчик дунули. – Она, дрянь, цепкая! Сама, по своей воле, никуда не денется. И отодрать – черта лысого отдерешь! А с двумя мне уж точно не сладить, не те годы. Хватка осталась, а сноровка уже не та. Даже пытаться не стоит». А ведь было время, когда Антон Германович и несколькими жизнями жил. Одновременно. И не все были праведными, а некоторые так и вовсе. И ничего, управлялся. Правда, жена Маша временами скандалила, было дело. Но ведь примирилась же, в конце концов, по крайней мере, для видимости. Работа такая, служба. Эти слова изобретены специально для женщин. Толково, надо признать, сработано. Наверное, и Зевс говорил так же Гере, будучи уличенным в неверности. А впрочем, Антон Германович ни разу так тупо, как Зевс, впрямую не попадался, разве что на флирте. Осмотрительность – удел тех, кто не может запустить в расшумевшуюся благоверную молнию.

«Машка у меня – золото».

Антону Германовичу взгрустнулось мельком. Так случается: соринка в глаз залетела, вроде как царапнуло чем-то под веком, а моргнул – и нет ничего, полный порядок. «Хорош

уже «мирихлюндии» разводить». Антон Германович дважды глубоко вдыхает и выдыхает, но от его манипуляций с воздухом ветра нет.

«Все же новая жизнь – это чертовски заманчиво. Взять и начать с ближайшего понедельника!» – дразнит он себя, отдавая дань давнишней и всеобщей традиции, еще детской, от начала и до конца наивной, как, впрочем, и само детство. Последнее умозаключение добавляет его размышлениям немного горчинки-жалости, совсем чуть-чуть. Кто переживал такое – наверняка поймет, о чем это.

«С понедельника, – повторяет он почти бездумно. – Понедельник – это завтра. Чудной день».

Не день, а помойка

Не день, а помойка – эти понедельники. Чего мы только на них ни сваливаем – и тяжелые они, и дети, найденные по понедельникам на прополке капустных грядок – заведомо неудачники, а машины, собранные в этот день, вообще нельзя покупать. Однако кому-то же достаются и эти дети, и эти машины. Одного этого понимания должно быть достаточно всей остальной, не задетой понедельниками части человечества, чтобы почувствовать себя избранными и счастливыми. Или нет?

Так или иначе, но каждую свою «новую жизнь» мы начинаем исключительно по понедельникам. Возможно, тут и скрыта причина ее недолгого и обычно бесславного воцарения. Чем же наши проверенные, добротнo скроенные и вдоль-поперек изученные «старые» жизни так не угодили этому непростому дню? Точно не скажу, но могу поделиться гипотезой. На мой взгляд, «новая» жизнь подсознательно рассчитана только на будние дни, дней на пять, не больше. Если замешкаться и начать ее, к примеру, со вторника, то вполне вероятно, что придется обрывать жизнь недожитой. И вполне возможно, что в самом расцвете. Иначе что же получится: на выходные у всех рыбалка, пиво, футбол, шашлыки, танцульки, девчонки, а ты в трудах и заботах, тобою же выдуманных, попросту говоря – совершенно не у дел. Мыслимо ли такое? Конечно же, нет.

В общем, прозевал понедельник – жди следующего, уповая на то, что опять прозеваешь. Неплохую, к слову сказать, жизнь можно прожить. И будет, что вспомнить.

В один из таких дней – помоек

В один из таких дней – помоек, подернутом патиной, в далеких шестидесятих прошлого века, что кажутся нам, кому ныне к шестидесяти, сплошь беззаботными и потому бесконечно счастливыми, сотканными из выдумок и открытий, шестиклассник Антошка Кирсанов распахнул глаза, получил в них мгновенно тяжелый удар от солнца, моргнул и покосился на покрытый стариковскими желтыми пятнами циферблат будильника.

«Еще две минуты до начала постылой понедельничной жизни», – расшифровал он послание, зашифрованное в цифрах и стрелках.

С ним всегда было так, сколько себя помнил: просыпался не по будильнику, а от необъяснимого внутреннего толчка, бессовестно и беспощадно вышвыривавшего из снов. Завидный дар. Жаль, нельзя было выменять за него одно-два сочинения без ошибок и хоть мало-мальские способности к математике. Впрочем, «способности», по Антону Кирсанову, чтобы всем все сразу было понятно, это «маза», она же «пруха», когда ничего не нужно делать, и домашние задания тоже, их – в первую очередь. Просто ходишь себе в школу, получаешь пятерки – и все. Поразительно привлекательное толкование, очень добротное, мне в шестом классе такие не удавались. И уж поистине гениальной задумкой был пункт раздачи оценок «способным» прямо в школьном фойе. А когда тепло, то и на улице, прямо у входа, под деревьями, чтобы ни минуты лишней на школу не тратить. Стол со стулом на улицу вынести, и. «Фамилия? Получи «пять»! Свободен! Следующий!»

Увы, но и мой образовательный марафон, равно как и школьные годы Антона Кирсанова, обошелся без «мазы». Хуже того, в третьем классе детское скудоумие подтолкнуло меня совершить акт человеколюбия и выручить предков, спасти от позора на грядущем классном собрании. В роковой день я битком набил школьные унитазы обнаруженным на соседней стройке карбидом. За это на оставшиеся семь лет был негласно «поражен в правах» и страдал от учительского произвола вплоть до самого выпускного. Кстати, карбид сработал по назначению, школу закрыли на целых четыре дня. Но и собрание состоялось – на пятый. Тему его подправили и начали сразу с меня. Оказалось, учителя все такие обидчивые! «Вони» от них было больше, чем от карбида, а уж он-то по этой части не подвел; надежный продукт. Случись какая потребность сегодня, право слово, не знал бы, чем и заменить его. Внук в этом деле тоже оказался беспомощным, не помощник. Его друзья – тоже. Удивляюсь: у них что, в школе проблем нет? Если ждете, что выскажусь по поводу подрастающего поколения, то считайте, что уже высказался.

В то утро маленького Кирсанова осенило: вот он, самый что ни на есть подходящий день, чтобы начать становиться лучше, попробовать подтянуться до родительских представлений о сыне, за которого «хотя бы не стыдно». К этим словам мама Антона Светлана Васильевна настаивательно добавляла: «Это программа минимум-минимум!» Мама вообще любила совестить сына бесконечными «хотя бы»: «ведро хотя бы вынес», «в магазин хотя бы сходил». Отец, если был в настроении, поддразнивал его «стариком ХотЯбычем». Что касается «минимума-минимума», то смысл этого выражения Антон понимал так – «меньше некуда», это как обменять стащенные у отца четыре сигареты с фильтром на одну единственную рябую свинцовую битку, выплавленную в алюминиевой ложке. Притом, что при умении и удаче хорошей битой можно было за неделю игры рубль выбить. Ну, скажем, теоретически. Хотя Антону и на практике пару раз удавалось.

Навряд ли такой пример, пусть и жизненный, пришелся бы по душе маме Антона. Впрочем, кто знает, если рубль в неделю, пусть даже теоретически.

Решение начать новую жизнь родилось, вызрело и свалилось в лодочкой сложенные ладони Антона незадолго до звонка будильника, больше напоминавшего песню дятла – колокол

изнутри обклеили изоляцией в три слоя, а раньше он полдома будил; сильная вещь. Дальше требовалось безотлагательно определиться с масштабом предстоящих перемен и перечнем граждан, которые должны все это заметить и радовать взрослых Кирсановых неподдельными восторгами: «Какой хороший у вас мальчик, везет же! Только завидовать остается.» Размечтался и чуть было свою очередь в ванную не прозевал.

– Ну иду, иду уже, – промямлил Антон заглянувшей в спальню бабуле, выпрастывая ноги из под одеяла: «Тьфу ты, опять с левой.»

Обычное начало для понедельника.

Задача поменять *вообще* весь уклад своей мальчуковой жизни у Антона разместилась где-то рядом с мечтой о жабрах человека-амфибии и бурке Чапая, то есть сразу и безоговорочно была отнесена к несбыточным. Разумнее всего, да и куда проще ему представлялось начать с обновления той части жизни, что протекала в пределах его подъезда и прежде всего – на кирсановском этаже. То есть. все такое важное, серьезное и ответственное – так выходило – затевалось ради жильцов двух соседних квартир – старперов и не очень старперов в надежде сподвигнуть их на восхваление «хорошего мальчика» в разговоре с родителями Антона. Вот же печаль! Вообще-то Антон справедливо предполагал, что задача добиться признания именно от соседей превращает мечту обрести жабры в сущий пустяк, просто надо как следует захотеть.

Из-под соседских дверей вечно несло чем-то прокисшим и одновременно прогорклым. Антон подозревал, что так воняет кошачья моча. Санька с третьего этажа спорил, что нет, у кошачьей мочи другой запах. У Саньки, к слову сказать, кошка была ярко-рыжей, а у соседей их было пять на две квартиры, и все как одна серые с черным и белым. В этом различии и крылась природа Санькиного заблуждения. «Неправильно как-то Санька кошачьи ссаки нюхает», – подозревал Антон.

А рыжие в самом деле пахнут особенно

А рыжие в самом деле пахнут особенно. Не как все остальные звери и люди – не рыжие. В этом Антон был глубоко убежден. Этот запах его манил, околдовывал. Только рыжая Санькина кошка отчего-то нисколечки не будила в Антоне высоких романтических чувств. Он часто поднимался домой от соседа с расцарапанными руками и иначе как «дрянью» животное не называл. Но с другой стороны посмотреть, как это может быть связано с запахом, цветом? Характер у кошки дурной, вот и все.

Всю прошлую четверть он просидел за одной партой с рыжей- прерыжей Ленкой Агаповой. Даже при легкой температуре и в тяжелых соплях, имея железные основания проваляться законных три дня дома с «О.Р.З.», наплевав на учебники, а вдобавок последующие две недели отлынивать от физкультуры, Антон доходягой тащился в школу. Если заболела Агапова – наверняка, сам невольно и поспособствовал, – места себе не находил, елозил, маясь один за полупустой партой, являя собой привлекательную мишень для педагогов-вредителей. Те азартно долбили по этой мишени, аки японцы по героическому бронепалубному крейсеру «Варяг» в бою у корейского порта Чемульпо, и Антон раз за разом повторял исторический «маневр» с затоплением – открывал кингстоны и шел на дно. В отличие от «Варяга», он и не пытался отстреливаться, нечем было.

Он и сейчас сидел бы, как прежде, рядом с Агаповой, но классная руководительница, зараза такая, взяла и переместила его на первую парту – вроде как невнимателен на уроках. Ко всему вдобавок еще и другим учителям пожаловалась. Отвратная баба. Антон прикинул, что надо бы ей кнопку на стул подложить. У него была на примете одна такая, больше напоминавшая обивочный гвоздь. Не исключено, что изначально это и был гвоздь, но укороченный за какую-то гвоздевую провинность, немилосердно разжалованный в кнопки, пусть и не совсем в рядовые, однако назад, в гвозди, путь ему был закрыт навсегда, сколько ни выслуживайся. Как с кастрацией. Замечу, что доподлинный смысл этого слова в столь юные годы не был еще Антону известен, хотя слышать он его мог, даже наверняка слышал: обитательницы дворовых скамеек нередко употребляли его в связи с именем итальянского мальчика-гения Робертино Лоретти, не веря в естественную природу его дара. Никому из них, глумливых, и в голову не пришло покаяться, когда выяснилось, что напраслину на мальчика возводили.

За кнопку-гвоздь просили фантик от заграничной жвачки. Иностранное подданство бумаженции и на первый взгляд, и на двадцатый было недоказуемо, но факт рождения на чужбине бережно сохранялся в памяти тех, кому привалило счастье узреть ее до того, как оказалась она залапанной и истертой до неразличимости изображения и надписей. Гарантов оригинальности бумажного лоскута, не считая Антона, числилось трое. Они по первому зову могли засвидетельствовать происхождение раритета, поэтому фантик все еще был в цене. Раньше Антон засомневался бы в справедливости такой мены, виданное ли дело – фантик на кнопку? Но теперь на справедливость ему было плевать.

Отвлекусь, пока не вылетело из головы. Кто, интересно, придумал насквозь фальшивый и жалостливый миф, будто педагоги в большинстве своем оказываются беззащитными перед изощренным коварством детей?! Ничего подобного! По моему глубокому, а потому непоколебимому убеждению, господь наделяет учителей ангелами-хранителями из числа отличников «ангельской и хранительской подготовки». Объекты опеки между ними распределяются прямо в день вручения их подопечным дипломов об окончании педагогических вузов. Распределяются, правда, по- тихому, без шампанского, букетов и пышных церемоний. На войну с шампанским не провожают. Нет сомнений, бывает так, что и среди этой элиты «небесных смотрящих» встречаются – не чужды! – «блатные», «сынки», ну и там разные всякие.

Однако за классной руководительницей Кирсанова приглядывал боец не опереточный – настоящий, не сачок. Пусть без фантазии, зато предприимчивый. Дыру в кармане устроил, нелюдь. Распустил пару сантиметров шва, и все дела. Словом, кнопку-гвоздь Антон потерял, так и не успев применить. Да что применить! Не успел даже спланировать каверзу, предвкушением насладиться! Нельзя так с людьми, тем более с маленькими. Даже если ты ангел.

Новому обладателю иностранной бумажки от жвачки эта сделка тоже не принесла удачи. Старший брат, студент, без спроса взял размягченный годами фантик и скурил его, смастерив самокрутку. Ничего другого под руку не попало. Модничал и хотел покорить однокурсницу лихим духом матерой махры, пока та раздевалась. Ну хоть кому-то в радость, если, конечно, от поджаренного фантика в горле не запершило так, что ни о чем другом даже думать сил не осталось. Антон, в отличие от студентов, безусловно порадовался бы именно такому исходу, потому как чувствительность к справедливости утратил всего лишь на время – и она вскоре вернулась.

Короче, надежды Антона на то, что праведные труды над собой чудесным образом вернут его за парту рыжей зеленоглазкой Агаповой, и стали утром первого дня недели наиболее значимым поводом дабы перемениться. Стыдно признать, но был он куда веселее потакания родительским представлениям о достойном продолжателе рода. Совесть Антон в связи с этим сознавал некоторую неправильность собственных мыслей, мотивов. Но сознавал не очень долго, поскольку рассудил не по годам мудро: «предки, так или иначе, в накладе не будут».

В принципе, взаимосвязь между влюбленностью и трудолюбием весьма сомнительна. Только в старых советских фильмах о перевоспитании лентяев и тунеядцев сюжет вырливал на прописанный в сценарии результат. В моей жизни всегда все было наоборот: больше любви – ниже заработка. А в отношении приоритетов. В отношении приоритетов я целиком и полностью на стороне Антона. Действительно, кого, скажите на милость, должно занимать дурацкое их ранжирование при таких-то благих намерениях, с которых.

И НАЧАЛСЯ ДЕНЬ БЕСКОНЕЧНЫХ НАДЕЖД.

И начался день бесконечных надежд. День амбиций и благодатных стартов всех «новых жизней», пропади он пропадом, чертов безрадостный понедельник. За сотню секунд с коротким хвостом, остававшихся до звонка будильника, пять минут торопливого умывания, Антон успел все в общих чертах продумать, спланировать и даже отчасти претворил в жизнь. Однако уже в первые послеобеденные часы дал знать о себе нрав известного своей предсказуемостью дня недели. Может быть, звезды как-то не так встали, раскорячились, но было еще светло и проверить не представлялось возможным.

Во второй половине дня у Антона случился затык. Или затор. Не «облом», то есть не катастрофа, не кризис, но все равно жаль, что так скоро.

Непредвиденное нагрянуло в самый ответственный момент. Антон уточнял черты, черточки, или «чёртики» в собственном характере, «несносном» по определению бабушки, «чёртики», обреченные на изживание. Или изжитие? Как думать правильно, Антон Кирсанов не знал. Чертовски жаль, что фильм «Найти и обезвредить» вышел экраны лишь в восьмидесят втором или третьем году. Опоздал, одним словом. Антон как заклинание повторял бы его название. Он и искал – настойчиво, бескомпромиссно. Так ему самому казалось. Упорствовал, пытаясь вычленив в себе непригодное для употребления в новой жизни. По гамбургскому счету, жизнь Антона уже менялась, претерпевала обновление, пусть и исподволь, но неизбежно, потому что с таким строгим метром он подходил к себе впервые. Однако упрямое «лишнее» никак давалось, намертво засев в окружающей его «породе», – видеть видно, а не изымешь! Оставался единственный выбор – поменять все нажитые привычки целиком, без остатка, но к столь откровенному радикализму Антон, как известно, не был готов. «Колесо спустило – весь велик на помойку? Шиш!» – заключил он непривлекательный план жирной точ-

кой. Будто вымазал большой палец чернилами и ткнул, куда подобает, острием фиги. «Только о неудобоваримом речь».

«НЕУДОБОВАРИМОЕ»

«Неудобоваримое». Именно таким словом, изысканно, совсем нетипично для отечественной школы, завуч Ираида Михайловна определяла поведение Кирсанова-младшего, подразумевая тщетность потуг уникального педагогического коллектива – «Один кандидат наук, аспирант, целых два заслуженных учителя! Вы только вдумайтесь!» – привить ему любовь и стремление к знаниям. Или наоборот: сначала стремление, потом любовь.

Эта женщина была Сухомлинским, Ушинским, Пироговым, Люксембург Розой и Берией Лаврентием Палычем в одном лице. О Палыче.

Извините, что совершенно о другом, но на днях я выпивал с друзьями под пельмени «От Палыча» и, того не желая, наговорил о себе, да и о других столько лишнего, что до сих пор неловко. Простите пожалуйста, если кто читает. А Пирогов Николай Иванович, по-моему, больше прославил себя в операционных, и его взгляды на воспитание я назвал бы скорее политическими, нежели педагогическими воззрениями. Ираида же Михайловна ставила Пирогова на первое место. Во всем оригинальничала!

Речь завуча про «неудобоваримое» Антон, вечно бранимый за несобранность, внимательно выслушал и слово запомнил, как и еще одну существенную деталь, прозвучавшую среди завучевых причитаний. Смысл слова «неудобоваримое» ему можно было не уточнять, Антон в любом случае не ожидал услышать о себе от классной руководительницы ничего хорошего, с чем в душе был категорически не согласен, но душу Ираиде Михайловне предусмотрительно не открывал. А мог бы аргументированно поспорить. Вон, ребята со двора, с которыми резался в «биту», в «буру» и «секу» всегда говорили о нем: «Тоха – классный парняга! Фартовый пацан, не фраер какой заплеванный.» Но до спора с Ираидой Михайловной Антон ни разу не снизошел. Наверное, правильно поступал. Кроме прочих неприятных ассоциаций, «неудобоваримое» напоминало ему о бабушкином супе из потрохов, который он не только не ел, но даже запаха не выносил – начинало мутить. Так что, в сущности, понимал, о чем речь.

Совсем другое дело

Совсем другое дело: откуда к школе приبلудился второй «засрак»?! Кто он, и как они с пацанами могли прохлопать такое событие? Вот что не на шутку заинтриговало Антона.

Смачное словцо «засрак» привнесли, а точнее ниспустили до их уровня, в долину «мелюзги», старшекласники. При этом никто не удосужился прояснить юной смене, что именно оно означает. В самом деле – какие мелочи. «Пользуйтесь, коли нравится, и валите отсюда, кто не курит», – было категорично объявлено младшим. Как на «первый-второй расчитайсь». Возможно, знали недоросли о том, что «засраками» невежливо, и поэтому за глаза называли заслуженных работников культуры. В школах же трудились заслуженные учителя или какие-нибудь Отличники народного образования («отнарозки»), Передовики индустрии передачи знаний («пердиперзы»), Ударники вакцинирования детства и юношества тягой к познанию. («романтики хреновы»). Если только эти гордо звучащие титулы я не сам придумал. Скорее всего нет. Или не все.

Как бы то ни было, в компании Антона, но и не только, словечко «засрак» прижилось опенком на пне – крепко-накрепко, не требуя никаких разъяснений своей сокращенной природы, то есть не пробуждая в школьниках исследовательский энтузиазм. Можно сказать, бесполезное с точки зрения образовательного процесса слово – никуда не зовет. Однако, факт оставался фактом – преподавателя истории никто в кругу подопечных иначе не называл, только «засраком». Возможно, что и сами педагоги промеж себя, за глаза, с коллегой по цеху не церемонились, грешили мстительно против коллегиальной этики – историк по жизни был на редкость непривлекательным типом – заносчивым кривлякой и ужасным занудой.

Нынче, как оказалось, в полку «засраков» прибыло, и Кирсанову не терпелось донести новость до друзей-приятелей. Впрочем, кем бы ни прирос список школьных знаменитостей, позиции историка при любых обстоятельствах остались бы непоколебимы: право первенства в клане «засраков» в масштабах отдельно взятой школы за ним закрепилось навечно.

И тем не менее. Неужели физрук? Веселый краснолицый толстопуз со своим неизменным «Ну чего вы как мешки с дерьмом болтаетесь, это же тур-ник. Подтя-ягиваться! Барабанова! Подтя-ягиваться – это не висеть. Мама родная. Это не вниз!» Этот мог бы. Образно и доходчиво выражался физрук, как и должно настоящим наставникам. Четкость команд привлекательно оттеняло едва различимое бормотание слов, вроде бы связанных с происходящим, но никак не вяжущихся с атмосферой школы и детством. Вот такой парадокс. Нет, учителю физкультуры почетное звание не светило. Он, слов нет, мужик достойный, а предмет его подкачал – не хватает в нем обстоятельства для значительных достижений. Жалкий предмет. Но ведь празднует же он что-то последние три недели – подальше от учеников на занятиях держится, окна нараспашку, а в зале и без того колотун. У историка, «засрака номер раз», все наоборот: предмет достойный, сам же историк – жалкий.

В общем, распирало юного Кирсанова от любопытства, – кто же стал в школе вторым «засраком»? Будто гранату учебную проглотил, не будучи стопроцентно уверенным, что учебная. Отчего-то не удивился, когда выяснилось, что позицию «засрак-два» заняла сама Ираида Михайловна. Расстроился: надо же быть таким простофилей и не догадаться?!

Историк, стоя на умозрительном постаменте, украшенном позолоченной цифрой «один», приняв позу Фамусова «Кто хочет к нам пожаловать – изволь.», смотрел в сторону завуча и презрительно кривил рот.

А в целом – достойная друг друга сложилась парочка. К примеру, физрук и историк смотрелись бы, как два полюса нездорового образа жизни: недостаток калорий, сжигаемых мизантропией, и избыток оных от регулярного пьянства. Впрочем, какой из меня моралист,

только насмешничать и могу. Словом, «засрак-раз» и «засрак-два» выглядели разделенными злой судьбой и поздно друг друга нашедшими близнецами.

Не к совести и разуму

Не к совести и разуму Антона Кирсанова. Нет, не так. Не к Антона Кирсанова совести и разуму взывала завуч со свойственной ей трибунной высокопарностью и прибегая к мудреному слову «неудобоваримое». В наличии того и другого мальчишке было как-то сразу отказано. С самого первого школьного дня. Ну, может быть, со второго. Одно слово – лишенец.

Бывает такое «везение с первого взгляда», я с ним не понаслышке знаком, хотя до операции с карбидом, то есть до третьего класса, легко дотянул среднячком. И дитя мое печальная эта участь – с «мелких» классов оказаться внесенным в реестр троечников и разгильдяев – тоже не обошла стороной. Только внук, которому по воле исторических и матримониальных обстоятельств, уже выпало поучиться в привилегированной российской гимназии, пожимает плечами, слушая эти истории, и в глазах его я читаю: «Да ну, дед, неужто кишка тонка была послать всех куда подальше?! Что-то ты мне тут паришь.» Вслух он такое не произносит, все-таки их там неплохо воспитывают, в гимназии.

В целом, мой внук – занятный мальчик. В мое время с его непокорным характером стал бы «украшением» ПТУ, а потом наказаньем стройбата. Если с такой позиции посмотреть, то выходит, что в нормальную сторону страна движется. Жаль только, позиций нынче для пристального разглядывания, как на линии Маннергейма – без счета. Из одной амбразуры выглянул – вроде бы все как надо, а к другой перебежал – ни черта, шиворот – навыворот. Как тут разобраться? Может быть секрет в том, что не Маннергейма¹ это линия, а Мажино²? То есть нас уже обошли!

В такой манере – прибегая к слову «неудобоваримое» – завуч разговаривала только со взрослыми, в частности с мамой Антона. Она нарочито подчеркивала ту недостижимую высоту – выше неба, сплошь кругом безвоздушное пространство, – до которой требуется подняться каждому индивидууму, кто жаждет быть принятым в общество образованных и интеллигентных людей.

На мой вкус, в речи завуча явно недоставало обращения «милочка!». Но я учился в другой школе и даже в ином городе, не в Москве, а Ираида Михайловна, по свидетельствам современников, и без «милочки» знатно выпендривалась.

Приятели Антона относили слово «выпендриваться» к заумным. Они говорили о завуче проще, придумали ей «кликуху», относившуюся разом и к ее нездоровой худобе, и к манере изъясняться в присутствии взрослых – Выёбла. Признаюсь, что без подсказки мне вряд ли посчастливилось бы с налету распознать в этом неблагозвучном имечке хорошо знакомую «воблу». И почти наверняка я бы опростоволосился, огорошив народ неприличным вопросом: «Кого?» Подумал бы: пропустил что-то важное.

С самим Антоном, при отсутствии в непосредственной близости взрослых, завуч объяснялась намного доступнее:

– Никакого житья от тебя, обалдуя, нет! Бестолочь! Убила бы!

Ее, старательную, явно заботили простота и ясность, и Антон, чей разум щадили от излишнего напряжения, это качество в завуче Ираиде Михайловне очень ценил. А насчет того, что «убила бы», так он ей не верил, потому и не жаловался никому, даже родителям. Ни разу и мысли не возникло ябедничать. Лишней, совершенно необязательной была и бескорыстная поддержка от старшекласников, случайно забредших в «зону конфликта». Антона успокоили

¹ Линия Маннергейма была комплексом оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой на финской части Карельского перешейка. Она предназначалась для сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР. Эта линия стала местом наиболее значительных боев в «Зимнюю войну» 1940 года.

² Французская линия укреплений, которую в 1940 году германские войска стремительно обошли с севера через Арденнские горы. После капитуляции Франции гарнизон линии Мажино сдался.

увещеваниями: «Не ссы, карапет, ее саму кто хошь соплей перешибет!» Впрочем, внимание со стороны без пяти минут выпускников несомненно льстило Антону. Особенно это «не ссы». Будто с равным беседовали.

И вот теперь разгулявшийся и растянувшийся от собственной значимости понедельник настаивал, чтобы страдалец, так вовремя придумавший начать новую жизнь, самостоятельно, без посторонней помощи и уж тем более подсказок Ираиды Михайловны, выявил и вычленил в себе пресловутое «неудобоваримое», отделил его от «терпимого», или «сносного». И хотя бы «приглушил» его на время. Такое послабление задачи было, конечно же, компромиссом, но всяко лучше договариваться с собой, чем давить себя, принуждать, для этого, и то правда, старшие есть. И вообще: с чего-то надо начать?! А там уж – лиха беда.

К середине дня он, словно измотанный лыжник, метил девственный снег недавних иллюзий не самым уверенным следом. Утренний запал отошел вместе с утром, но кое-что, пусть и не слишком весомое, все же, осталось.

«Может статься, для возвращения за парту к рыженькой двух-трех дней примерного поведения с ушами хватит, а потом нужда напрягаться сама собой отпадет, – размышлял Антон в полупустом трамвае на перегонах между тремя остановками, отделявшими его дом от постылой школы. – Либо у меня все это в привычку войдет, либо.» Вслед за «либо» никак ничего не придумывалось, и Антон вышел из затруднительного положения восклицанием «Совершенству пределов нет!», позаимствовав у отца присказку, которой тот обычно реагировал на придирки матери. Мать в придирах была большой мастерицей. Правда, отец при этом еще досылал вдогонку: «Угомонись уже!» Антону успокаивать было некого, разве самого себя, что было абсолютно излишне, ибо к этому времени скрывавшееся под масками разных слов малодушное «угомонись» и без того уже вспучило буграми, покрыло трещинами путь к новой жизни. Словно кто злонамеренно поселил под асфальтом семью шампиньонов.

Мыслишка отступиться

Мыслишка отступиться от утром задуманного подросла до размера мысли так же быстро, как сам Антон за последнее лето превратился из пацанчика в пацана. С той лишь разницей, что не понадобились ей ни три месяца, ни полцентнера подгоревших каш с хитрым желтым взглядом разомлевшего плевка масла из середины тарелки.

Трамвай отбивал колесами положенный ему ритм, приближая Антона к его остановке и с каждой минутой ему становилось понятнее и яснее, что и с «неудобоваримым» внутри себя вполне можно жить. И эта ясность возвращала мальчишке привычную бодрость и предвкушение еще не родившихся шкод. Он старался думать о старой жизни, сравнивая ее с так и не наступившей новой, неторопливо, сдерживая подступившее вдруг лихорадочное возбуждение, размеренно, обстоятельно, как если бы объяснял все это вслух кому-то из взрослых.

У него получалось.

«В самом деле, как-то же дожил до этого дня! Нормально дожил, можно сказать, неплохо. А то, что раз в две недели скандал в школе, что ремень, как отец выражается, с задницей дружит «неразлейвода», так нас «того-этого», а мы, как говорит Колька из девятого «А», только крепчаем. Раньше, вон, в пятом классе каждую неделю «разбор полетов» предки устраивали. Как по расписанию: пятница, дневник, скандал, ремень, без кино, два часа гуляния в воскресенье, все остальное время – уроки. А теперь, глядишь, нет-нет, и нормальные попадают выходные.»

По всему получалось – налицо явный, неоспоримый прогресс. Что, собственно, и следовало доказать.

То есть, новая жизнь сама подкралась к Антону без звонков и прочих оповещений, и была она не «шапкозакидательской», без наскока, а вполне себе умеренной и деликатной. О такой только мечтать. А он, балда, не заметил. Так что начинать «самую новую» или «новейшую» – это уже вышел бы перебор. «Лучшее – враг хорошего», – вспомнил он еще один бытовавший в семье афоризм. Правда связан он был, по обычаю, с бытовухой, от того, наверное, и бытовал. Вряд ли кто из Кирсановых, что постарше, прибегнул бы к его помощи в таком вот контексте.

– Опа! – крутанул Антон с восторгом мешок со сменкой из-за спины, бессознательно, забыл в возбуждении, где находится. Через голову крутанул, из за спины и вперед, но в последний момент, опасаясь задеть тройку болтливых девушек, скорее всего из медичек-первокурсниц, дернул шнурок на себя и. это было ошибкой. Мешок, в котором, кроме кед, лежали две книжки для внеклассного чтения, отказавшиеся помещаться в ранец, сменил маршрут и прилетел туда, где его не ждали и куда вовсе не следовало прилетать. Да-да, именно в то самое место. Антон завис, как парашютист на проводах: думать – поздно, дышать – страшно. Сплошной ужас. Звук, вырвавшийся из горла, соответствовал позе: «У-у!» А тут еще бесчувственные девицы покатались со смеху. Беззлобно, но и без всякого понимания – куда им. Лишь кондукторша, сердобольная, посочувствовала:

– Вот накормят говном каким детей в этих школах, а потом дивятся, что малохольные повыврастали. Веселятся тут, козы. Чего ржать-то? Своих вон рожайте. Байстриюков.

«Байстриюков» – повторил про себя Антон новое слово и тут же его забыл, окрыленный облегчением, отмечая, как к нему возвращается счастье дышать, бремя думать и способность стоять выпрямившись.

«Это мне прилетело за то, что, не подумав, начал еще одну новую жизнь, – определил он источник возмездия. – Вот только что теперь с этим делать?» От такой задачи мозг мог в два счета свернуться, как ложка сливок в чашке чая с лимоном.

Антон буквально за день до этого схлопотал дома знатный нагоняй за эксперимент с чаем, сливками и лимоном. Зато теперь он наглядно, до мелочей представлял себе, что может произойти в его голове, если он не послушает голос разума, взывающий к осторожности.

– Жопа, а не пионер, – привычно высказалась бабушка, не распознавшая вовремя замысел внука. Прозвучало это, как прогноз погоды в Прибалтике – чуть отстраненно, но убедительно: «Надо ехать, самое время – море, сосны, дюны.» Так бы все и осталось, не призови бабушка на кухню родителей. Море вспенилось, сосны нагнулись, а дюны снесло. Наверное, все из-за того, что лимон был последним, «пайковым», и Антон его израсходовал весь, без остатка. «На науке экономить неправильно» – он сам слышал по радио эти безусловно важные слова, но чувствовал, что радио, когда речь идет о последнем лимоне, – вряд ли такой уж надежный союзник.

В самом деле, я вот тут что подумал. А если бы Менделеев на всем экономил, жадничал? Так бы и жили без водки, никчемные. Без армии, потому что нечем было бы солдатский дух укрепить, помянуть героев, родственников, друзей утешить, генералов усостыжить. Без газет и журналов, потому что откуда им взяться без журналистов? Нет верующих – нет и религии. И вообще остались бы мы без таблицы. Как следствие, ремонты кабинетов химии в школах существенно возросли бы в цене, потому как пришлось бы белить замызганные участки стен, прикрытые нынче масштабным детищем гения Дмитрия нашего Ивановича.

А Антон же подумал вскользь о бабуле: «Такие мелочные все становятся к старости!» Без неприязни, без обиды даже, просто подумал. Откуда ему, малолетке, было прознать, что редко у стариков по-другому бывает: крупное-то по жизни давно разменяно и разложено по заветным шкапулкам, расставлено в парадных рамках по трюмо и комодам – золотое, бумажное, черно-белое, цветное – какая разница.

Чай – не человек, чай, ему хорошо

«Чай – не человек, чай, ему хорошо», – безграмотно, но с непонятым им самим небрежным изяществом Антон позавидовал испорченному напитку. – Его вылили в раковину – и с концами, а мне с испорченным мозгом – жизнь жить, куда его выльешь?»

Таков был неутешительный вывод, сформулированный Антоном Кирсановым в трамвае, в трех минутах езды от отчего дома. Ко всем прочим невзгодам его удручала не проходящая, хоть и притупившаяся боль в том месте, где так неосмотрительно завершил полет мешок со сменкой и книгами, и которое неприлично жалеть руками на людях. В подъезд он вошел неуверенной походкой и совсем не в настроении. Поэтому вонь из-под соседних дверей на родимой лестничной клетке показалась ему просто невыносимой и чуть было не сгубила весь день окончательно. Короче, сплошное расстройство, а не понедельник. Чудовищный день.

«У-у, гад, – в никуда погрозил он кулаком бесконечно тянувшемуся дню. – Засада фашистская, а не денёк. Жопа ходячая, а не пионер. И после этого она еще сомневается, ели я внук?! Сама – жопа старая», – приготовился он к встрече с бабулей, нажимая не глядя кнопку звонка – куда тот со своего места денется?! Кнопка отсутствовала, вместо нее из звонка торчал гладенький металлический штырек. В квартире раздался запланированный перезвон, но Антон, получив пусть и не очень сильный, однако чувствительный, а главное – неожиданный удар током, был громче. Две двери распахнулись разом. Из двух дверных проемов на маленького соседа, сморщившего нос от рванувшего из квартир на волю амбре, глянули молча и недобро четыре пары глаз. Потом двери закрылись, соседи и между собой пренебрегали здороваться, а запах остался. Секунду спустя, за третьей дверью отозвалась из прихожей бабушка:

– Чего расшумелся, вот же неумный. А то я без того не слышу. Не разувайся, за хлебом пойдешь.

Так снова досталось несчастному дню

Так снова досталось несчастному дню. Не хотел Антон, но пришлось еще раз помянуть понедельник справедливым словом, уж больно веской была причина.

Бабуля Кирсанова имела привычку каждый день запастись свежим хлебом. Покупала при этом помногу, так что на стол постоянно подавали вчерашний, пока свежеприобретенный дожидался своего часа в хлебнице.

– Куда?! – одергивала она внука, потянувшегося за свежей горбушкой. – Сперва этот доесть надо, что со вчера остался. Хлеб, запомни, всему голова! С ним надо бережно.

Словом, очередь свежего батона наступала тогда, когда он терял свою свежесть. От родителей в битвах с бабулей за свежий хлеб Антону пользы не было никакой, так как мама Кирсанова хлеб не ела совсем, соблюдала диету, а отец на завтрак и ужин любил хлеб поджаривать, хотя и его пару раз отваживали от свежего. Впрочем, он не сопротивлялся. Однажды Антон почти что нащупал выход: пропустить один день, не покупать хлеб (соврать, в конце концов, что закрыли булочную), «подъесть», как выражалась бабуля, старый, а со следующего дня войти в ритм. Он даже погордился собой недолго – таким простым и в то же время изобретательным казалось решение. Но только не бабуле.

– Как это. хлеб не покупать? Ты чего говоришь-то? – искренне не поняла она. – Так нельзя. И так не будет. Сама схожу. Нет, ты иди.

Тема была закрыта, бабуля Кирсанова не представляла себе жизнь без запасов. По этой причине субботние закупки осуществлялись ею из расчета на два дня, в воскресенье булочная не работала, и по понедельникам Антону на обед доставался хлеб позавчерашний. В этом и крылась причина навалившегося на него дополнительного расстройств.

Антон послушно поплелся с авоськой в булочную, размышляя уныло, что, конечно, можно было бы купить булочку за семь копеек и пакет молока и съесть поесть по дороге домой, в скверике, но тогда от заначки останется единственная двухкопеечная монетка. К тому же домашнего борща с котлетами и пюре уже не захочется, а сейчас хочется так сильно, что язык того и гляди в слюне утонет. Еще он думал, чем бы таким на звонок нажать, чтобы снова током не дернуло, и кто, интересно, первым придет с работы домой – отец или мама? И своими ключами они дверь отпрут или позвонят? Обычно звонили. Антон прикинул, что если поторопится, то успеет к возвращению мамы, вспомнил, как она визжала, наткнувшись на дохлую мышь под умывальником, и решил: «Если что, услышу и с улицы. Вот будет потеха!» И в подъезде такое начнется.

КОРОТКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ, НАЗВАННОЕ «НЕРАЗБЕРИХА»

Короткое отступление, названное «Неразбериха».

«Громче!»

«Не-раз-бе-ри-ха!»

Если в общем и целом, однако же и без особого снисхождения, это в голос произнесенное слово вполне бы стоило для оценки школьных будней Антона Кирсанова. Сам он стремился к большей описательности, мыслил объемами – «трудно живется, как-то не так все» – и избегал деталей. Но откуда бы ей, простоте – наивной, и чтобы все своими словами. – взяться, если тут приврал, там притворился, нашкодил – пронесло, второй раз – схлопотал за оба раза и авансом за три предстоящие проказы, – так отец распалился. Пока оплакивал себя, невезучего, зарывшись носом в подушку, вспомнил про три страницы, в разное время вырванные из дневника, спрятанные под матрасом. «Ру-уки не доходят.» – поддразнил себя слезливо. Давно, дураку, надо было с мусором «компру» сплавить, изорвав в мелкие клочья, чтобы ни буквы не опознали, даже если под лупой, или в песочнице закопать нынешним грудничкам в назидание: пусть знают, какое лихое поколение им предшествовало, такому в самый раз поклоняться. Так

нет же, под матрацем забыл! В добавок ко всему, уже укоренившемуся «неудобоваримому», выходило, что он еще и несобранный.

«Тоже мне новость».

«Ну тогда – совершенно несобранный».

«Ну тогда. права бабуля насчет пионера и жопы, еще как права». Поболтал сам с собой и примирился с неутешительной правотой старших. Она, правота старших, вообще редко кого утешает. Неправота, впрочем, тоже.

Закончилось отступление.

Судорожные метания мысли

Судорожные метания мысли от недостатков привычной жизни к преимуществам новой и обратно явно затягивались, одни доводы легко перекрывались другими, и последние, хошь не хошь, влекли на глубину неизменности заведенных, привычных порядков. А пороги, омуты? Так они везде – пороги с омутами, где их только нет. Проще говоря, не хватило Антону понедельника, чтобы определиться. Вроде бы и насыщенным оказался день, и длинным, как пятница после контрольной, когда самое время терять дневник, или признаваться, но тогда – сделай выходным ручкой. В то же время он оказался недостаточным, бог ты мой, что там недостаточным – безнадежно коротким для судьбоносных решений. И все это нисколько не напрягает, в смысле противоречий, то есть противоречий – ноль, потому что речь о понедельнике. Вторник бы такой суеты не вынес. А среда запросто – дама!

Нет, с заманчивостью призрачных высот все обстояло по-прежнему – манили. Вот только во всем остальном виделись сплошь сложности. Вслед за «суетным» понедельником наступил «нервный» вторник, затем вся, как ей и предписано – суматошная, вся в противоречивых мыслях, «психанутая» среда. И даже «никакой» четверг, трудившийся подъемным, а точнее опускаемым мостиком навстречу вожделенным выходным, не порадовал, не порадел, вообще не сумел ничем радостным выделиться. Как и не было четверга. С другой стороны, странно было от «никакого» дня вообще чего-либо ожидать. Выходит, с возложенной на него миссией он справился на отлично.

К пятнице Антон до такой степени заморочился, что завалил «целый четвертной» диктант. Конечно, никто тут же в классе диктанты не проверял, тем более труды отдельно взятого нерадивого, обремененного «неудобоворимым». Оглашение приговоров ожидалось не ранее следующего вторника, однако Антон в делах этих скорбных был большим докой и редко обманывался. Лишь раз, если быть совсем точным. Тогда их училку в подъезде ограбили. Вырвали из рук сумку с зарплатой за месяц и всеми тетрадами. Понятно, что за деньгами шпана охотилась – на кой черт им чужие ошибки? Грабителей, кстати, быстро нашли и даже часть денег пострадавшей вернули, а вот школьникам амнистия вышла, потому как тетради пропали бесследно. Старший Кирсанов – Герман Антонович – по этому поводу заметил с усмешкой, что в милиции тоже люди работают, но Антону не сразу хватило смекалки сообразить – к чему это он, решил, что отцовская похвала касалась скорой поимки злодеев. Позже, когда до него дошел смысл отцовской реплики, проникся уважением к милиции за неожиданное благородство и даже подумал, а не податься ли самому в ряды защитников граждан? «Буду шпану истреблять и тетрадки на свалку выбрасывать. Хорошее дело, нужное людям!» Но душа скукожилась и не пожелала откликнуться с таким же жаром, с какими отзывалась на шанс стать душой моряка или, положим, космонавта, и Антон благополучно забыл о мимолетном порыве.

На сей раз вероятности избежать «пары» по русскому не было никакой, что не могло не расстраивать. И расстраивало. С другой стороны, причина неизбежного ее появления в дневнике Антона Кирсанова была в кои-то веки (по самому Антону Кирсанову) оправданной и весомой: ни много ни мало, о судьбе речь, обо всей будущей жизни! «Такие двойки. Таких двоек еще поискать. Это ого-го какие двойки!» – нечетко, но бравурно сформулировал он свое отношение к предвиденному результату, по ходу прикидывая, насколько такой подход может быть понят и верно оценен родителями. Так ли уж велика его вина в том, что во время диктанта о Володе Дубинине, пионере-герое, а не «жопе», как внук Антон, залетела в его душу стая сомнений? Ну а дальше – наглые, не желающие замечать ни запятых без надобности, ни иных заблуждений по части правописания, они принялись самым хамским образом обживать территорию, гнезда вить:

«А что будет, как ошибусь и не отличу «неудобоваримое» от, скажем, пацанской верности круговой поруке? – терзался Антон, бездумно, механически выводя слова, доносившиеся до него со стороны учительского стола. – Лишу себя с кондачка, разом, всех самых завидных доблестей, без которых не видать мне ни авторитета, ни уважения среди сверстников? Завучу-то что. Ей вон все тридцать пять нащелкало, если не больше. Жизнь прожита. Диктуй себе диктанты – и всех забот. К тому же – целый за-авуч! Не фунт изюму. А мне, между прочим, с одноклассниками не год и не два кандалами вместе за партой греметь! Мне без авторитета – никак, труба без авторитета».

Когда прозвенел звонок и запоздало мелькнуло обескураживающее откровение, что в слове «подорвался» не все гласные – «а», Антон решил все-таки поговорить на эту трудную тему с отцом, посоветоваться. Не то, чтобы он так уж на самом деле нуждался в совете, просто интуиция подсказала: «Хорошее дело, зачтется при случае». А случай, как водится, был не за горами, он уже спускался в долину, где вызревали плоды Антошкиного разгильдяйства, размахивая гигантским полотнищем с призывом:

«Все на родительское собрание по итогам четверти!»

И было это полотнище черного цвета. Только буквы белели, но в будущее Антона она света не добавляли.

Дома Антон строгим тоном поставил отца в известность, что у него к нему «мужской разговор». Если бы родитель был менее увлечен хоккейной баталией, пусть и в записи, то вздрогнул бы непременно от мысли, что сейчас ему будет доложено о беременности какой-нибудь Светки из третьего класса, и самое время познакомиться и переговорить с ее семьей, обсудить, у кого будут жить молодые. И на что: маленькие, но скидываться придется по крупному.

«Интересно, каково это – «мужской разговор» на словах, без ремня?» – вдруг озадачился Антон и даже вздрогнул от неожиданной пронзительной мысли: «Что если без ремня – это не по-мужски? Может умнее другое название выбрать? Серьезный разговор, к примеру. Но они все, разговоры, серьезные, а нужно, чтобы этот стал особенным.»

Однако в тот вечер повод для взбучки еще не вызрел – редкий, надо сказать, момент, – так что грех было по уму не распорядиться удачей. Дневник, тем не менее, Антон все же припрятал как следует. Подстраховался: а ну как насторожится Герман Антонович его худобой и примется страницы пересчитывать. Не должен, конечно, никогда раньше такого не было, но ведь нашел же он в прошлом году бычок в целлофане, припрятанный за козырьком сыновьей ушанки! А казалось бы, чего ему за козырек этот было заглядывать? Своих сигарет у него всегда целый блок дома в запасе, а если точно, то на сегодняшний день – блок и три пачки, третья открытая, в ней восемнадцать сигарет, из такой не возьмешь, вообще не исключено, что засада.

Отец покорно, хотя и со вздохом с новостью справился, выключил телевизор. Наверняка вспомнил упрек жены: «Совсем Антошкой не занимаешься» и, поскольку не было ее рядом, легко признал упрек справедливым. Герман Антонович пересел в угол дивана, нога на ногу, руку вытянул вдоль спинки, устроился. Поза получилась по-домашнему расслабленной – «Кроха сын к отцу пришел.» Улыбнулся Антону, показал глазами на кресло, предлагая тоже не жертвовать личным комфортом: мужской разговор, значит – обстоятельный, а если обстоятельный, то это надолго. Антон, однако, помотал в ответ головой и остался стоять ближе к двери, на самом углу ковра, произвольно поставив тапки по линиям рамки коврового рисунка, вышла почти что «первая позиция». Если бы он заметил такую странность, то разговор скорее пришлось бы отложить. Антона подхватили бы и унесли воспоминания о чудесном фильме «Я вас любил» и весь реальным мир оказался бы заслонен застенчивой улыбкой Нади Наумченко – так звали главную героиню. Фильм недавно вышел в прокат, и Антон один раз ходил на него с родителями, а потом еще дважды один, причем втайне от других пацанов, потому что настоящему пацану нежности и лирика ни к чему. Хотя Славка, восьмиклассник из четвертого подъезда по прозвищу «политический», не таясь божился, что готов хоть завтра жениться на

Анжелике, той что «маркиза ангелов». И плевать он хотел, что она старая. А «плевать» он намеревался «с высокой стройки коммунизма», так что шансов в кого-нибудь угодить была – ноль. Но не в этом дело. Важно, что его за это не осуждал. «Наверное, с иностранками все по-другому», – рассудил Антон, обмозговав разность в подходах.

Бог миловал, необычность собственной позы он не заметил.

– Ну. – отец хотел добавить «балерун», но вовремя спохватился, – излагай.

Антон заговорил сбивчиво и непоследовательно, хотя вроде и подготовился, все продумал, слова умные подобрал – про трудное детство, нехватку родительского внимания, прочую «заумь».

Судьба, наверное: где только ни будет учиться Антон в своей жизни, но ему так ни разу и не удастся блеснуть по-настоящему ярко, если основательно подготовится по предмету. Соберет урожай пятерок, и вроде заслуженно, но не польхнет искрой божьей, – блекло. Придаться не к чему, скучно. Чинуша мечты. Зато как легко ему станут даваться экспромты! И не только в аудиториях. И не только в мужских компаниях. И не только в дневное время. И не только, когда подшофе.

С другой стороны, изложил он свои проблемы отцу хоть и путано, зато откровенно. Даже про Агапову вспомнил. И о том, что рыжие обладают ни на что не похожим запахом, лучше цветов, – тоже из виду не упустил.

Старший Кирсанов слушал Антона молча, время от времени теребил мочки ушей. Сначала его беспокоила левая, потом переключился на правую. Почему-то именно эта деталь больше других запомнилась сыну, будто в выбранной отцом последовательности был скрыт потаенный и крайне важный смысл. Пройдет время и Антон догадается, что таким образом отец проверял: это в самом деле с ним происходит? Уж не сон ли? А однажды сам поймает себя на бессознательном повторении отцовского жеста – во время торжественной линейки восьмиклассников, сдавших свой первый в жизни экзамен: «Не может быть?! Сдал.» Потом отец без всякой цели застегнул и снова расстегнул верхнюю пуговицу на домашней фланелевой рубашке и поинтересовался:

– У тебя все?

– Все.

– Послезавтра, в праздник, на дачу поедем.

Среагировал странновато, можно сказать, невпопад, но могло быть и хуже: что-то уж больно разоткровенничался с ним сын. Антон и сам от себя такого не ожидал.

Моя покойная матушка говорила в таких случаях: «Ну все, понесло-поехало.», а бабушка часто крестилась и повторяла: «Свят-свят.». При этом делала вид, что смотрит в окно, и натуральный ее испуг не имеет ко мне отношения. Убейте, но не вспомню, чего уж такого inferнального я мог в те годы наговорить. А может быть, потому и не помню, что отмолила бабушка мои детские глупости и, похоже, юношеские. И часть взрослых.

Бабуля Антона, как было заведено в семье Кирсановых, все это время «паслась» в коридоре, под дверью, по-своему расценив тот факт, что мужчины уединились. Расслышав отцовскую реплику про дачу, дверь приотворила, чтобы в щель лицо поместилось – на голове бигуди, у открытой духовки сушилась, сорвали с насеста, – и встряла:

– Говорила тебе, сынок, странный он у нас, а у тебя все никак времени нет. Рано ему еще хандрить! А ведь хандрит, стервец! Еще как хандрит. Лупить надо чаще, и не жалеть. Все горечи через жалость.

И на десерт всхлипнула.

Про пионера и жопу не вспомнила, оправдала надежды Антона.

А вот «мужской разговор» – нет, не оправдал надежд.

Бабкиным чаяниям – плохо молилась – тоже не суждено было сбыться: не за что было в тот вечер пороть Антона. Впрочем, звучит это не слишком правдоподобно. Скажем так: суще-

ствующий повод Кирсанову старшему был не введом. Мог, конечно, Герман Антонович уважить мать и несильно выпороть наследника просто так, для профилактики, которая еще никому, имея ввиду родителей, не вредила. Мог. И при этом каждый бы мучился думой – «за что?», перебирая в уме возможные варианты, отмечая на мысленных полях крестики, галочки. Ведь не те это поля, где нагуливают жирок вопросы без ясных ответов. Но сдержался старший Кирсанов. И хорошо.

Вот же вредная бабка!

Лучший Антошкин друг

Лучший Антошкин друг и сосед по подъезду Санька тоже, как и старший Кирьянов, не въехал в «исповедь», не уловил сути, хотя с ним, казалось, Антон был еще откровеннее; родителям ведь не все без утайки расскажешь – чревато. Особенно если матом.

– Подрочи в гондон, чудило, попробуй – посоветовал Санька со знанием дела. – Отвлечет. Чума как клево, ни на что не похоже, и на пододеяльнике следов нет. Тебе дать один? У меня последний. Незапечатанный, но чистый...

Антон взял. Саньке – хорошисту по русскому и истории и незаменимому подсказчику в текущем школьном сезоне, странно было бы не доверять, мог обидеться. Тогда – труба дело.

Эксперимент не увлек. Больше того, исполнившая предназначение резина категорически отказывалась тонуть в унитазе, гадость эдакая. Она цеплялась за жизнь, надувалась пораженным катарактой глазом и насмешливо им в Антона пялилась. Пришлось вытаскивать ее из толчка, преодолевая рвотные спазмы, хоть и не неженка – собачье говно руками на спор подбирал, и прятать в комок туалетной бумаги. Потом Антон полчаса выпасал момент, чтобы в кухне не было никого – отдельная драма, – запихнул последствия забав в надорванную вощечную пирамидку из под молока и добровольно, чего раньше никогда не бывало, вынес полупустое мусорное ведро. Закрыв смердящий зев мусоропровода и вытерев о штаны руки, наконец-то расслабился.

Ему повезло: обитатели квартиры семейства Кирсановых лишь чудом не отметили чрезвычайно подозрительную активность младшего.

Надо было что-то сказать Саньке, тот дважды досаждал другу по телефону, издегал своим «Ну как?». Врать дальше не было смысла – впереди разгильдяев, двоечников и прочих «залетчиков» ожидал титанический труд над ошибками, в том числе совершенными в диктанте за четверть, и Антон, мальчик в меру корыстный, обнял друга Саньку со всей искренностью:

– Факт отпустило. Спасибо тебе огромное, друг. А то заманался я. Не знал уже, что и делать.

Увы, искренность порой губит дружбу, и через несколько дней Санька перестал быть лучшим среди друзей Антона. Сначала он отказался принять на веру, а потом и вовсе с недопустимой горячностью отверг выстраданную Антоном теорию о неповторимости запаха всех обитающих на планете рыжих – от тушканчиков до Агаповой. Агапова – это важно – во втором классе двинула Саньке портфелем по голове, и он хвастался, что на его макушке пожизненно отпечатался след от замка. Однако, не глядя на приобретенную уникальность, которой бы следовало дорожить, он рыжую Агапову с того дня невзлюбил и при случае обижал, утверждая, что она с ножками-палочками и копной ярко-рыжих волос похожа на подожженную спичку. Наверняка повторял за кем-нибудь из остряков постарше, сам бы не додумался до такого. Повторял, однако, с нескрываемым удовольствием, нравилось смотреть, как друг злится, а крыть нечем. К тому же Санька решил, что, раз у него рыжий кот, так и право судить обо всем, что касается мира рыжих, тоже принадлежит ему, по умолчанию. Теоретически, оспорить столь явную несправедливость и разрушить монополию друга было делом пустячным: взять, да самому завести зверушку домашнюю искомого цвета. Практически же, шансы подвигнуть семейство Кирсановых на участие в эксперименте находились за гранью реальности. «Бабка костями ляжет, но в доме не будет живности», – безнадежно попытожил Антон. Хотя и такой исход – это о бабуле – чего-то да стоил, прости господи.

Несмотря на все разногласия, в отношениях двух друзей и к тому же соседей все было не так уж плохо до момента, пока Санька не заявил совершенно не к месту – мирно покуривали за сараями, – что если Агаповой нравятся такие идиоты и неучи, как Кирсанов, то он – автобус. Он, Санька, автобус, а его друг Антон – идиот и неуч. Сейчас бы Антон Германович как пить

дать съехидничал: «То есть ты – автобус, а я, по всему выходит, водитель из гастарбайтеров?» Это сейчас. А тогда Антон не сдержался и устроил «автобусу» нехилую «аварию».

Так они с Санькой рассорились насмерть и насовсем. Другими словами – на все лето, до сентября.

Пока Антон силком тащил Саньку в ближайшую от дома травматологию, тот пускал злые пурпурные слюни и бормотал, что если Кирсанов когда-нибудь попадет под трамвай и ему отрежет ноги, то он, Санька, хоть и звеньевой в пионерском отряде, ни за что не будет накладывать на обрубки резиновый жгут, прекращая кровотечение. Вообще, вел себя друг, ставший бывшим, как форменная свинья – его же не бросили! Однако Антон все же справился с желанием вмазать Саньке еще раз – за ноги отрезанные и общую душевную черствость, и получил в результате достойный повод гордиться собственными великодушием и сдержанностью. Все одновременно.

На губу Саньке наложили три шва, а Антону погрозили детской комнатой милиции, потому что он, дурак, сразу же рассказал все как было. Опоздавшие заверения пострадавшего, что упал, мол, ударился, никто не принял всерьез. Наоборот, и ему, страдальцу с губой, разнесенной, будто сливу под ней «притоптал», тоже пригрозили милицией. За вранье. До милиции, впрочем, дело так не дошло, даже на нотациях сэкономили, оставили, наверное, для более подходящего случая или для других пациентов. А может быть, запас нравоучений иссяк, израсходовали за день. Или прокисли они, а свежих еще жать и ждать. Может же быть такое? Визит завершился напутствием пожилой и не очень опрятной медицинской сестры, сварливой, не утруждающей себя даже намеками на сострадание, каковое впрочем, не в чести в травматологических пунктах, в ночных дежурных стоматологиях, в пельменных, в армии и в бракоразводных процессах.

– Топайте уже отсюда, оглоеды, – сказала она. Из приличных семей, как я посмотрю. Вот из таких и растут шпана да бандиты.

Всю дорогу до дома Санька молчал, заморозка лишила его возможности шевелить языком, но по взглядам, которыми он исподтишка награждал обидчика, было ясно, что путь последнего к тройке по русскому будет непосильно долг и невероятно тернист. Антон же в это время переваривал слова медсестры, раздумывая над тем, что на бандита он совсем не похож, обычно о нем говорили: «мальчик выглядит таким положительным, а учится и ведет себя так плохо.», а вот Санька, нарочито державшийся сбоку, с перемазанной йодом и перекошенной физиономией – совсем другое дело. Санька – чистой воды шпана, не хватает лишь кепки с низко надвинутым на глаза козырьком. У Антона такая была, он ее не носил, не нравилась, вот и решил подарить Саньке.

«Не сегодня, конечно, но обязательно подарю. Ему в самый раз будет».

Угрызений совести за содеянное рукоприкладство Антон не испытывал, Санька нарвался сам, но утешить бывшего друга подарком казалось правильным.

«Все равно не сегодня.»

Не выдержал. Таким вынес из дому кепку, спустился вниз и засунул ее в Санькин почтовый ящик. Аккуратно засунул, чтобы козырек не замять. Туда же приготовился бросить коротенькую записку «ПБДС», что должно было означать «подарок бывшему другу Саньке», но в последний момент заподозрил, что заморозка могла охватить не только лицо, но и мозг бывшего друга, дописал в уголке понятное: «носи», а чуть ниже добавил еще одно: «не для дяди Леши».

Дядя Леша

Дядя Леша, неродной Санькин отец, встретил Антона вечером того же дня на лестнице, куда выходил покурить или передохнуть от говорливой и вздорной Санькиной матери. Встретил случайно, не похоже было, что подждал. Мог бы, если надо, и домой подняться к Кирсановым. Они, правда, с отцом Антона не очень чтобы общались, но и не ссорились, не было такого. Так ведь и повода до сего дня не было. А Санька с Антоном с трех лет дружбу водили, с детского сада.

Не наябедничал, однако, дядя Леша, не зашел к Кирсановым. Сказал грустно:

– Совсем вы странные, дети. Мы ведь вас не такими задумывали. Другими.

Он поднял к грязному потолку, на уровень глаз, тонкую нежную руку – о таких говорят «аристократическая», такие же встречаются у чахоточных и иных доходяг, если отмыть и обстричь ногти. Поднял раскрытой ладонью вверх, будто держал в ней, робея от значимости момента, спутник, сердце Данко или, на худой конец, белого голубя мира. Смотрел тоже вверх, недолго, секунду-другую, ровно столько, сколько требовалось единственному собеседнику, как сейчас Антону, или множеству, как бывало по-видимому чаще, чтобы сосредоточиться на руке, и забыться, нафантазировать, разглядеть в ней то, что подсказывало воображение, захотеть вот так же.

Дядя Леша был известен в подъезде и, без сомнения, за его пределами тоже, тем, что никогда не кричал, не ругался. Ему не было нужды проявлять эмоции всякими привычными и, увы, примитивными способами: лишнее.

«Атавизм», – говорил. Никто другой не умел так обидно и уничижительно просто отмахиваться от собеседника... Жест и слово... Я и сам не знаю, правильно ли описал словом «отмахиваться» многослойное по сути действие. Есть на сей счет у меня сомнения. Так вот, он намеренно обрывал начатую фразу, бросая ее, как что-то там в царскую водку.

Что именно надо бросать в царскую водку я не помню. С какой такой целью все это делалось – тоже вылетело из памяти на волю и на веки вечные, как таблица Брадиса, суть происходящего с пестиками-тычинками, почему толщину дерева нельзя подчеркнуть количеством «н» в слове «деревянный», и еще многое-многое прочее. Наверное опыт такой был по химии. Да и не в царской водке, в конце концов, дело (она с краю), а в том – *что* в нее бросают! А также в том, что оно, брошенное, обязано добровольно раствориться без осадка. Ничего другого от брошенного в царскую водку не требуется. Лишь готовность принести себя в жертву. Как от сахара в чае.

Главным же в микро-спектакле дяди Леша было не умирающее в полете слово, а жест! Еще, пожалуй, кое-что значила мимика. Кое-что, но не все: гримаса мучительного страдания работала исключительно на «подтанцовке». Сама по себе она «зал не собирала», не могла собирать. Страдал дядя Леша не так убедительно, как шевелил руками и говорил.

Словно загипнотизированный, Антон наблюдал за свободным, исполненным подлинного трагизма полетом-падением ладони с переворотом вниз, будто стряхивали с нее что-то неловкое, стыдное даже. Спутник! Он же сердце Данко! Сам Данко! Голубь! Мир! Жизнь!

Вдребезги!

Все вдребезги!

Антон, как и требовалось, почувствовал себя морально раздавленным и уничтоженным: «Уж лучше бы наорал! Или подзатыльник отвесил!» Понимал при этом, что раньше Санькин рыжий кот накукует дяде Леше долгую или недолгую жизнь.

И ведь накуковали... Не кот, понятно, и не водитель молоковоза – тот всего лишь подсутился и выполнил, чтобы земной срок, «накукованный» дяде Леше, тот не переходил. Совсем скудный срок отвели дяде Леше.

В день, когда молоковоз задавил его насмерть, Санька из принципа, хотя говорил почему-то «из солидарности», перестал пить молоко, но творожные сырки так и остались его любимым лакомством, ценным выше мороженого. Антон никогда не мог понять, как так можно: где сырки и где мороженое?! А фамилия того шофера в самом деле была Кукушкин. Не вру. Клянусь.

Отец Антона сказал как-то о дяде Леше: «Не знал бы, что обычный месткомовский прыщ, подумал бы, что из киношных актеров». По тому, как сказано это было, каким тоном, обитатели квартиры Кирсановых в который раз убедились, что профсоюз у отца семейства явно не в числе фаворитов, да и актерское племя он тоже не сильно жалует. Зато с заполошной Санькиной мамой Кирсанов-старший был обходителен и вообще относился к ней с симпатией. «Казачка! – говорил. – Ее за три квартала слышно, кого хочешь перекричит! У меня на войне ротный был из казаков. Ух, какой голосище!» Трех солдат из части прислал в помощь – мебель к поминкам собирать по подъезду и свою, домашнюю, передвигать, чтобы было где рассестись.

Маму Санькину в те печальные дни было слышно чаще обычного, несмотря на основательность дома, его перекрытий и стен, и Антон пуще прежнего не понимал, что уж так воспринимает отца в монотонной скороговорке на верхней октаве.

Поминки вышли показательные и многословные. Герман Антонович после первых двух рюмок удалился под какой-то заминкой, не выдержал, да и старался не очень. Дома на вопрос «Как там?» сказал:

– Только дяди Леша не хватает.

Бабуля Кирсанова, судя по лицу, готовилась завести разговор, который мама Антона называла «шарманкой»: о том, как правильно будет ее проводить в мир иной и кто непременно должен быть приглашен на поминки, но потом передумала, пожала губы, будто на что-то обиделась, и ушла в свою комнату. Сообразила, что рассуждать о своих будущих похоронах, когда двумя этажами ниже реальная смерть, совсем не то, что изводить и дразнить домочадцев в обычный день.

Все это – гибель дяди Леша, поминки и неожиданная бабулина шепетильность – станет отметиной предстоящей осени. Антон к этому времени будет великодушно прощен своим другом Санькой, и опять станут на пару бегать по субботам в бассейн, где Санька будет скрытно завидовать, разглядывая в раздевалке «свежак» из Антоновых «боевых отметин».

– Первое сентября прогулял, ну ты помнишь. Не поверишь, только вчера узнали. Видал?! – расхвастается битый. Его плавки будут маскировать лишь ничтожно малую толику багровых полос. Карающая рука Кирсанова-старшего была, если судить по рисунку, крепкой, тяжелой, но «инструментом» – ремнем – владела не очень уверенно, наверняка хуже, чем стрелковым оружием.

– Орал? – участливо будет спрашивать Санька.

– Еще как! – приосанится младший Кирсанов, отвечая на оба вопроса сразу. – Но отец орал громче. Я думал, у вас слышно.

– Не-а, – потянет Санька разочарованно, словно уснул в новогоднюю ночь раньше времени и пропустил «Мелодии и ритмы современной эстрады».

Натурально ведь, вот болван, будет Антону завидовать! Чуть позже признается, что не знает, как пойдет в армию таким неопытным, не приспособленным. ни к чему, что спит из-за этого плохо, так как страшно ему, и не хочется быть слабаком. Антон в шутку пообещает похлопотать, уговорить отца преподать Саньке по-соседски пару уроков «мужской выучки». Санька же сникнет и скажет в ответ серьезно:

– Ты понимаешь, Тоха. Дядя Леша не поймет, обидится.

Жить дяде Леше на тот день оставалась неделя.

Герман Антонович, когда подошел срок, вопреки своим убеждениям – равнодушен к казакам и казачкам – выправил Саньке «белый билет», и тот вместо армии остался с матерью,

хотя «вечерников» призывали всех, а завзятых «ботаников» типа Саньки, отчего-то в первую очередь. Из вредности, наверное. Больно раздражали они военкомов своей очевидной непригодностью ни к дисциплине, ни к службе вообще. Вот и напоминали себе военкомы про «сказку», которую следует «сделать былью», имея ввиду «жизнь» и «ад», это всего лишь вопрос выбора слов. Кстати, о словах: таких слов как «ботаник» или «ботан», в модной лексике того времени не было, зато армия была советской и непобедимой.

Разговоры на трудные темы

Разговоры на трудные темы никогда не манили Антона, что роднило его с большинством населения нашей планеты, а уж с матерью он и вовсе старался их избегать. Если доводила судьба до края и зажимали его на кухне между фартуком и холодильником, то юлил, не откровенничал, чаще просто молчал, как партизан, обижал мать скрытностью и сам обижался на «буку». Учён был с малолетства. Обишнулся раз, дал слабину, открылся. Еще в детском саду было дело. Потом все знакомые семьи Кирсановых спрашивали сочувственным шепотом:

– Что, Тоха, в самом деле – молния сверкнула, а ты и обкакался? Прямо вот так?

При этом каждый интересующийся считал своим долгом потрепать его ласково по вихрам, а Антон ненавидел причесываться, и в утешение непременно делился какой-нибудь схожей, «стыдной» историей из своего детства, чаще всего на ходу и придуманной. Но даже если не выдумки это были, чужой позор ни коим образом не уменьшал его собственный. Лишь еще раз напоминал о самой оплошности, о неловкости жизни полдня без трусов, в одних шортах, трусы сохли, и обиде на маму, растрезвонившую о неприятности, случившейся сыном, всем и вся.

Вот что характерно: стоило Антону промолчать про грозу, опустить эпизод с молнией, сократив происшествие до голого факта – «обосрался и все», как событие в миг оказалось бы лишено интриги, становясь заурядным, а значит неинтересным: «С кем не бывает подумаешь, ну съел парень что-то недоброкачественное, может с пола поднял, и – здасьте.» Этим премудростям Антон научится позже, пока же ему хватило простецкого знания, что столь сложные материи, из каких соткан был состоявшийся- несостоявшийся «мужской разговор», не предназначались для материнских ушей.

По мне, так зря перестраховался мальчуган, не того опасался: поделись он с матерью мыслями и рассуждениями, которыми одарил отца, оторопь бы нашла на бедную женщину, или икота, а может что и похуже. Но если бы Светлана Владимировна счастливо пережила стресс и пожелала бы поделиться услышанным с милыми сердцу подругами, то на большее, чем «Вот шалопай! Такой трудный возраст.» ее бы все равно не хватило – красноречивые откровения сына пересказу не поддавались. Я, к примеру, выслушал монолог Антошки Кирсанова в исполнении Антона Германовича, скажем так – в зрелом возрасте, да и «причесал» он его художественно нажитым опытом, но и то, бог свидетель, с трудом пробивался к сути, а может быть сам придумал ее по-быстрому, когда понял, что мозг вот-вот закипит. Маму его, Светлану Васильевну, я искренне пожалел: точно – редким «букой» был ее Тошка, с такими ой как трудно приходится. Однако же, и товарища поддержать хотелось, не просто так, смею думать, поведал он мне эту часть истории. И вот что я ему рассказал. Или только хотел рассказать, но «скомкал» тему? Неважно.

Бытует мнение

Бытует мнение. Само слово «бытует» уже звучит, как начало эпоса об унылой, но сытной жизни моли в складках зимней одежды. Итак, бытует такое мнение, что мужской шовинизм чуть ли не часть нашей интернациональной-национальной культуры. Мне и самому доводилось слышать эти строго произнесенные, но по сути пренебрежительные слова от разных женщин – русских, не очень русских (эти клеймили мужской шовинизм «махровым»), и совсем не русских. Иностранки – вот уж странность, так странность – все как одна ссылались на труды графа нашего Льва Николаевича Толстого. Вероятнее всего, они пребывали в непоколебимой уверенности, что раз изобразил Лев Николаевич несметное число человеческих судеб, людских мыслей, томлений и поведений, то и сексизм вряд ли упустил из виду, потому как дотошен был сверх всякой меры. А уж коли заметил граф такой огрех общества, то и осудил его, как водится. Все русские гении обязательно и пренебрежительно что-либо осуждают, невольно культивируя тем самым порок, так как нет, всем известно, плода, вкуснее запретного. Как нет и вернее пути записаться в классики, чем обличать и вновь обличать людские пороки, потому что нет под луной ничего более живучего и неистребимого, вот тема и не устареет.

Ну как-то так. Длинно вышло, но вроде бы складно. Выдохну.

Забыл упомянуть. Раз при мне одна дама приписала Льву Николаевичу авторство «энциклопедии русской жизни», на что я скромно заметил, что это Пушкин, что он хоть и не граф, но зато «наше все», и получил в ответ:

– Именно об этом и речь, вы, мужчины, все знаете лучше всех!

Вынужден, имея в виду вольности современных нравов, обозначить, что антураж для таких непростых разговоров с дамами был исключительно деловым. Только работа, ничего вместо работы. И после работы, к слову, тоже ничего. Что само по себе могло запросто послужить мотивом для безоглядных атак со стороны противоположного пола. Так диктует мне гипертрофированная самоуверенность и бесспорное сексистское начало, да и вообще грех не съехидничать. Шутка. Под диктовку я со школьной скамьи не пишу, и мужской шовинизм давно уже меня не заводит.

Вообще я думаю, что гневные филиппики по поводу «мужчинского эго», водруженные словно гроб в похоронной процессии на плечи безропотных и услужливых классиков, бессмысленны – ничего не изменится. Не убедительно как-то звучат все это из женских уст. Меня, по крайней мере, эти речи не убеждают. Куда лучше, естественнее – никакого наигрыша! – женщинам удаются простые житейские реплики и восклицания. Особенно я бы выделил следующие:

«Ты где шлялся?!»

«Почему у нас в доме никогда нет денег?»

«Откуда ты только взялся, урод, на мою голову?!»

«Где твой шарф и левый ботинок?»

И универсальное: «Боже мой! Ты меня в могилу сведешь! Какой же ты стал скотиной!»

То есть, все-таки был шанс. Стал скотиной. А когда-то не был. Не справилась. Проморгала человека. А тут и Герцен, то есть классик в помощь: «Кто виноват?» Земной вам поклон, дражайший Александр Иванович.

Импульсивность, экспрессия, непосредственность женского проявления и есть их живая природа. Она привлекает, а все эти квелые, безжизненные и остывшие, как рыба на льду, культурологические и философские умозаключения – нет. «Не вставляет», – говорит в таких случаях дочь моих близких друзей – отличница, умница, воплощение феминизма. Знает ведь, о чем говорит, и формулирует, как всегда, откровенно и точно, я бы сказал – вызывающе точно.

Вот и все, что хотелось заметить по этому поводу с высоты последней четверти средних лет. А юный, да что там юный – маленький еще и неискушенный Антоша Кирсанов просто чувствовал: с женщинами лучше быть настороже. Природа предостерегала. Ну и детсадовский опыт ко всему прочему.

Перечитал и выходит, что не настолько уж эти женщины заблуждались насчет шовинизма и интернационально-национальной культуры. Впрочем, это я так, не особо искренне. По примеру Антона Кирсанова: пробьет час – может, и зачтется.

Пока же Антон был вынужден решать задачу архиважную и архисложную.

Как выскальзывать из материнских объятий?

Как выскальзывать из материнских объятий? Точнее, из объятий материнского любопытства? Целая наука, однако. И, как водится в прочих науках, далеко не все опыты и эксперименты проходили удачно. Смешно признавать, но без вездесущей бабули Антон чаще терпел бы фиаско, чем справлялся с задачей. Помощь в лице энергичной старушки прибывала как на пожар, при том, что спасти внука она вовсе не собиралась и если бы дожила до этих строк, то расстроилась бы всенепременно, а затем призадумалась. Или наоборот, в смысле последовательности.

У бабули было чутье. Антон затруднился бы определить, на что именно было чутье у бабули, но его быстро крепнувший разум подсказывал, что на все!

– Ну что ты, Светланка, на него нервы тратишь, – увещевала бабуля невестку. – Извелась вся, лица нет, а ему, гаденышу, хоть бы хны! Драть его надо как сидорову козу, и будет толк. Вон на Геру моего глянь. Отец никогда спуску ему не давал, а если в отъезде был, то я и сама управлялась, ты уж мне поверь, приструнивала. Зажимала голову между колен и приструнивала чем под руку попадет. Раз, помню, у черпака ручку сломала.

Ей верили оба – и Антон, и его мама. При этом, верили, скажем, по-разному. Антон можно сказать бесстрашно, скорее даже с любопытством – никак не вязалось «приструнивание» рослого, крупного, грозного отца с сухонькой, согбенной старушкой – бабулю яростно мучил радикулит. Мама, похоже, знала побольше сыновьего, и то, что знала, не вселяло в нее добрых дочерних или невесткиных чувств. Во время таких разговоров она мрачнела, Антон замечал, как дрожат ее руки, а на скулах вздуваются бугорки, будто мама что-то пережевывала, не желая при этом ни с кем делиться. И сам он неожиданным образом проникался страхом перед тем, о чем знать не знал, и не мог – кто станет посвящать малолетку в семейные тайны? Та часть его тела, ну, служившая проводником «приструнивания», откликалась на бередящие душу тревоги самостоятельно, Антон принимался ерзать на стуле, и попа его нагревалась и обильно потела.

У Светланы Васильевны душа была открытая, все внутренние переживания мгновенно проступали на миловидном лице. Друзья любили и жалели ее, считая простодушной, но очень искренней, то есть не совсем приспособленной к жизни. И они были правы. Или оказались правы, сами того не желая.

Мама Антона побаивалась свекрови и вступала с ней в пререкания разве что по кухонным делам. При этом следила тщательно за своими руками, чтобы в них в этот час ничего для жизни опасного не оказалось – скалку, нож, половник тут же откладывала в сторону. Даже для кухонного полотенца не делалось исключений, хотя что могло быть более мирным, чем расшитая петухами тряпица. Именно этот решительный жест – отброшенное на подоконник полотенце, единственный решительный в арсенале Светланы Васильевны, и служил сродни неритмичной дроби крышки на чайнике, недвусмысленно намекая на вскипающее негодование. Бабуля тут же прекращала ворчать и обычно ретировалась – очень быстро, буквально мышью, несмотря на вечно одолевавшие, по ее словам, боли в спине.

В готовке маме не было равных – царица, и кухня был ее царством.

Отец говорил Антону:

– Мамуля наша родилась со скатертью-самобранкой.

– А ты? – спрашивал сын.

– Я в погонах, скорее всего. Ну точно в погонах. И в сапогах.

Не дожидаясь естественного: «А я?», старший Кирсанов хмурил брови:

– А ты с пятеркой по рисованию. Заметь, единственной. И даже не в четверти. Так что стыдись, сын, и подтягивайся давай, не то сам знаешь.

И откуда взялось столько снисходительного родительского пренебрежения к рисованию? Полезнейший, надо сказать, предмет. Без школьных уроков Антон вряд ли добился бы такой выразительности, «расписывая» непотребствами подоконники в подъезде – мальчужковское изображение не давало покоя. За эти художества управдом грозился оборвать хулигану уши, но по счастью не знал, чьи следует обрывать, а Антон ни разу не попадался. Тут даже бабулино хваленое чутье не сработало, хотя именно она и нажаловалась управдому. Выходит, что лопухнулся внук, переоценил старушку – не на все у той было чутье, встречались проталины.

Истребитель вкуса и кухонный инквизитор

Истребитель вкуса и кухонный инквизитор. Так, не слишком изысканно, можно сказать невежливо и отнюдь не по родственному определяла Светлана Васильевна гастрономические таланты свекрови и иные ее пристрастия. Инквизиция, вернее всего, поминалась без иносказаний, и имела прямое касательство не только, а может быть и не столько к истреблению доброкачественных продуктов. Подробности не владею, потому как источник моих познаний один, он известен, а в ту пору Антону было не до того. Наделяя мать мужа такими эпитетами, проще сказать – обзываясь, Светлана Владимировна не смущалась присутствием самой «инквизиторши», то есть говорила ей это в глаза и, учитывая природную кротость мамы Антона, последнее обстоятельство следует безоговорочно занести ей в актив.

– Добро бы только в готовке ни бельмеса не смыслила, так ведь лезет во все со своими дурацкими наставлениями! Брюзжит, брюзжит. Прости господи. Поверишь, сил нет больше терпеть! – в слезах жаловалась Светлана Владимировна мужу. Он же баюкал ее на коленях, хрупкую и беззащитную, и в тысяча сто первый раз уговаривал как-нибудь примириться, раз уж так вышло, что «одним домом с мамой живем». Подмывало, конечно, сменить «примириться» на «потерпеть», так сердцем и чувствовал, но тогда получался совсем иной смысл, вроде гнусность по отношению к старой матери. Оба понимали бессмысленность ссор, и не ссорились. Да, по правде сказать, и наскучило уже ссориться по одному и тому же поводу, ничего нового не придумывалось, так что, образно говоря, ритуал исполняли. Скучный, ничего не меняющий ритуал. Разве сближались больше обычного – несмотря на возраст, сыну тоже частенько доставалось от матери.

Застарелая взаимная неприязнь свекрови с невесткой была, пожалуй, единственной нерешенной и, почти наверняка, неразрешимой проблемой среди прочих домашних, бытовых, от которой Кирсанову старшему не дано было увильнуть. На что бы он ни ссылся. Воображение, находчивость к слову сказать, не входили в число неоспоримых достоинств отца семейства, только хваленая мужская изобретательность, то есть все было предсказуемо. Кому не ясно, о чем речь – короткая иллюстрация в помощь.

Один мой знакомый клещом, из последних сил держится за ветхий, давно опустевший гараж. Машину у него лет пять как сперли, на новую не наскреб, а «стойло» не продает, ну хоть ты тресни! Я его и так уламывал, и этак, он ни в какую, чуть ни слезы на глазах:

– Скажу ей: «Мне в гараж!» А она: «Нет у тебя больше гаража!» И как дальше жить? Чего делать?

Хорошо хоть под склад водки паленой гараж не сдал, иначе бы я точно обиделся, терпеть не могу подделки.

Отцу Антона на привычное «Схожу в гараж» традиционно отвечали – неважно кто, мать или жена – «Ишь, намылился!» (У товарища моего, того, что с гаражом, родня послабее духом, или не такая рискованная.) Можно было, конечно, устраивать внеурочные вызовы в часть, растрюбив при полном, заметьте, молчании, что не все ладно в офицерской семье, но Кирсанов слишком дорожил репутацией и карьерой, а «тогда» – не «сейчас», и понятия эти были почти неразрывны. Или только в части, где проходил службу Кирсанов старший, царили такие строгости? Так или иначе, но самый добротный, бронированный «отмаз» отпадал сам собой, больше того – даже в мыслях не допускался. Вот и приходилось ему выслушивать жалобы, упреки терпеть в бесхарактерности (совершенно напрасные, и все это понимали), корчить из себя миротворца – советовать бесполезное, и думать: «Твою мать. Только этого мне сейчас и не достает. Как не достает?! Еще как достает!» Но в общем и целом, в вопросах «кухонных разборок» старший Кирсанов проявлял завидное и последовательное чувство такта, чем не был славен в вопросах

иною рода. Вероятнее всего, инстинкт самосохранения давал о себе знать. Впрочем, кто дал мне право отказывать старшему офицеру в здравом смысле?

К чему все это? Ах да. Как же удавалось Антону избегать «дачи признательных показаний», несмотря на всю проявляемую Светланой Васильевной недюжинную настойчивость. Так вот, после навязчивых подсказок свекрови с ее упрощенным видением педагогического инструментария – спасибо что обходилось без призывов «На конюшню его! И розгами пороть! Розгами!» – матери Антона попросту становилось не до расспросов своего чада. Расстроенная не сложившимся разговором с сыном, еще больше вмешательством мужниной матери – «Ну что ж за беда-то такая! Каждой бочке затычка.» – не желая, однако, скандалить, Светлана Васильевна спешно спохватывалась:

– Масло закончилось. Вот те раз!

Антон, бывало, совершенно не опасаясь возвращения к нежелательным темам, какой-никакой опыт уже имелся, набивался матери в попутчики, и они на пару топали в магазин, радуясь, что сбежали из дома, где от эмоций вдруг стало нестерпимо душно, и болтали о всякой ерунде – о природе, погоде и видах на ближайшие выходные. Сколько бы ни заседала свекровь на Светлану Васильевну, та в жизни не взяла в руки ремень, оставаясь в вопросах воспитания детей и взрослых несломленной пацифисткой, то есть совершенно бессильной. Бабуля же, не исключено, по молодости зачитывалась «Очерками бурсы» Помяловского³ и там, где Николай Герасимович, сам наказанный четыреста раз, или и того больше, задавался вопросом «пересечен он или недосечен?», должна была отвечать злорадно: «Конечно же не...»

Было и еще одно обстоятельство, из-за которого открываться матери Антон решительно не хотел. Светлана Васильевна в то время, когда «состоялся – не состоялся» «мужской разговор» сына с отцом, погрузилась с одержимостью неопита в изучение проблем подростковой психики. Труды отягощенных глубоким знанием мэтров не попадали в орбиту ее внимания, разве что по касательной. Сведениями Светлану Васильевну снабжали популярные журналы и странички отрывных календарей, что по сути было намного опасней науки, так как предлагаемые там советы были понятны и однозначны: взять, смешать, залить и принимать по столовой ложке три раза в день перед едой. Антон переживал, что во всех его путанных мыслях «о новой жизни и всяком таком» мать усмотрит не просто «неудобоваримое» в понимании завуча Ираиды Михайловны, а что-нибудь уже совершенно выходящее даже за эти пределы.

Впрочем, это было бы полбеда. Настоящей катастрофой стала бы неумолимая и беспощадная материнская битва за сына. Тут уж снадобьями, от которых всегда можно попробовать отбиться, ссылаясь, к примеру, на сонливость во время уроков – был в жизни Антона такой опыт – дело не ограничится. «Операции по спасению» – неважно кого и чего – воодушевляли Светлану Владимировну, становились смыслом ее существования и действовала она с поистине миссионерской одержимостью. На работе именно ей поручали сбор взносов в Общество охраны природы, а по сути принудительный обмен денег на марки, непригодные даже для писем, так как значилось на них «членский взнос» и ни слова про почту. Как мог забыть шестиклассник Антон, что за дивная карусель завертелась два года назад, лишь стоило слуху «А мальчик-то курит!» достичь материнских ушей? Житейское, казалось бы дело, не первоклашка же. Тем не менее, активность Светланы Владимировны, взявшейся «ограждать» сына от дурного влияния (не могла же она поверить, что мотивом курения может стать банальное любопытство, и вознаграждено оно было кашлем до рвоты), едва не закончилась переводом в другую школу. Это за отцов дети не отвечают, а за матерей, что «стучат» родителям на детей-курильщиков, – да, еще как отвечают. Те, кого Антон уважал, стали обидно обзываться «предателем», хотя ни одного имени он маме не выдал, это девчонки, по природе вредины, «сдали» Светлане

³ Н. Г. Помяловский (1835 – 1863) – русский писатель, прозаик, автор реалистических повестей. «Очерки бурсы» частями печатались в 1862–1863 годах в журналах «Время» и «Современник».

Владимировне весь список. Слава богу, через две недели одна из доносчиц похвалилась честностью – мало вредности, так еще и дура. Не повезло кому-то, если не переросла. Кстати, и учителя свой автограф оставили на Антоновом горе-горюшке, немало потворствуя жестокому детскому бойкоту. Задело их, видите ли, что скандал с курением малолеток докатился до страниц «Учительской газеты». Правда, обошлось без имен и даже упоминания номера школы, просто «есть такая проблема», но «письмо так и не позвало в дорогу, потому как не было никакого письма». Сноха директрисы служила в газете редактором, это она позаботилась об анонимности школы, и директриса дефилировала по служебным владениям вся напыщенная, словно собственной грудью прикрыла авторитет заведения, что в практическом смысле было вполне возможным. Только на Саньку, соседа и верного друга, не действовали науськивания сверстников и подсказки старших. В ту злополучную зиму – только представьте себе: мороз, темень, и надо идти в класс, где тебя никто не любит. – новая школа лишь чудом не ворвалась в судьбу Антона, была уже определена. Роль чуда на себя взял мамин желчный пузырь – неожиданно воспалившийся и приведший хозяйку на больничную койку. Ну а к выписке уже и «вредная дура» выступила с признанием, и «предатель» был реабилитирован, правда стал «дезертиром», отказывался курить. Словом, все благополучно рассосалось.

В последующие два года, вплоть до погружения в проблематику детской психики, Светлана Васильевна без остатка посвящала себя спасению льва Берберовых, отцовской шевелюры, вдруг взявшейся быстро редеть, и оздоровлению пицци, нещадно эксплуатируя семью как бесплатных подопытных. Впрочем, даже мамыны паровые котлеты по-любому были вкуснее бабушкиных сосисок с намертво приваренным к коже целлофаном.

Нет, сосиски – неудачный пример, они обладали бесспорным достоинством – их можно было употреблять руками, не заморачиваясь с ножами-вилками, попросту зажать зубами целлофановый «тюбик» и выдавить в рот часть его содержимого. Увлекательнейший, доложу я вам, был процесс! Лишь бы язык не обжечь, целлофан остывал быстрее сосиски. И еще дурацкое послевкусие, будто дождевую накидку пережевал. Вкус дождевых накидок того времени, врать не буду, – не помню, так же как не могу побожиться, что сжевал хотя бы одну, но что-то подсказывает мне: нет, не заблуждаюсь я на сей счет. По крайней мере, пахли эти две одежонки – на сосисках и людях – совсем как близнецы-братья. И черт с ним, что запах и послевкусие – это формально о разном. В реальности – об одном и том же, о детских воспоминаниях.

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ.

Яблоко от яблони. В общем, отец Антона также рассудил, что перспективы вовлечь жену в разговор о сыновьих якобы трудности чреватые непредсказуемым продолжением, и принял по-военному мудрое тактическое решение – сохранить при себе невестку откуда взявшиеся Антоновы фантазии и сумбурные, незрелые откровения. И свою матушку озаботился «построить», строго-настрого запретил упоминать при невестке о том, что та подслушала. Припугнул слегка, не вдаваясь в подробности:

– Только хуже будет, дурдомом закончится.

В подробностях нужды не было, бабуля и без того не собиралась сыну перечить и невестку во что-либо посвящать. Во что посвящать-то – вот ведь вопрос?! Не поняла втолком ничего из слов внука. Одно вынесла, резюме, так сказать: «Всыпать бы ему, баламуту, ремня по первое число!» С душком новость.

Себя старший Кирсанов успокоил весомым: «Ничего, дай срок, перерастет!» и домашней перцовой настойкой – идеальный союз.

«Конечно, кому охота числиться отцом «психического»?» – мысленно согласился с отцом Антон, уловив краем уха, прислоненным к двери, большую часть из того, что строгим тоном внушал родитель бабуле, и в частности слово «дурдом». Он и сам, оказавшись на месте отца, ни за что бы не захотел. «Представить страшно, – думал и ужасался, – ведешь себе сына, как

совершенно нормального, за фруктовым мороженым по семь копеек, в бумажном стаканчике, с палочкой, оставляющей в неумелых руках занозы на губах, в языке, а у тебя за спиной:

«Видели, кто пошел? Психический!

И «шу-шу-шу, шу-шу-шу» вдогонку.»

Представлять-то себе Антон все это представлял, и очень даже живо, но картинка была нечеткой, никак не выходило увидеть себя взрослым.

Впрочем, уже самое время вернуться к истокам, к тому, с чего собственно все началось. Нет, упаси Бог, не к прогулке Антона Германовича Кирсанова по главной российской площади, туда еще возвращаться рано, это прошлое еще впереди, в будущем. Я об испытанной вдруг Антоном Кирсановым потребности внести коррективы в текущую жизнь, а по большому счету – начать новую: стать, пусть и ненадолго, примерным учеником и сыном, вернуться за парту к рыжей Агаповой, и не растерять во всех этих подвижках известные мальчуковые доблести, без которых все остальное, кроме Агаповой, потеряло бы смысл. Я со слов Антона Германовича именно так понял задачу. Все остальное – необязательный треп, сопутствующий ущерб, как разбитые окна при игре в снежки. Увы, ожидаемый результат, невзирая на жертвы, мысленные мучения и даже полученную в трамвае травму так и не вырос из одежек наивных желаний.

«Ну я пошел?» – робко отпросились благие намерения, и тотчас же с облегчением были отпущены восвояси.

Что же до мальчуковых доблестей – какой камень. настоящий утес преткновения, – все получилось блестяще: никакого урона, полная неприкосновенность. Возможно, что и новыми доблестями список прирос, я, по правде сказать, так глубоко не вникал. И были у этих основательных достижений – столько нервов, но справился ведь – нешуточные причины. А случилось вот что.

Вскоре случилось лето

Вскоре случилось лето. Вначале у Антона изъяли аппендицит, через месяц – гланды, вслед за гландами – пятерку, с разницей в день. Последнее – я о «пятерке» – отнюдь не оценка из годовых (таких не водилось), не денежная купюра из растяпы-кармана, а зуб изо рта, пятый снизу. Кто осмелится утверждать, что такие жизненные невзгоды, встряски не обновляют жизнь? Еще как обновляют! Шура Фишман, сын светила районной педиатрии, принимавшего в поликлинике по понедельникам и четвергам, убедил Антона в том, что гланды и аппендицит специально даны человеку для вероятного последующего удаления. То есть, «чтобы было чего удалять, когда больше удалять вроде бы нечего, но удалить что-то просто необходимо, ведь нельзя оставлять все как есть!»

– Это для людей о-очень важно! – заострял он внимание Антона с отца срисованным задумчивым покачиванием головы, явно ожидая, что градус интереса к его рассуждениям прямо сейчас и зашкалит. Но больной был на удивление благодушен, на серьезное не настроен, да и трудно настраиваться на серьезное, если тумбочка завалена фруктами и шоколадом, а вечером того и гляди принесут еще.

«Не жизнь, а малина, везет же некоторым!» – больно кольнуло Шуру под ложечкой и он добавил, вроде бы невзначай, чтобы больной не заносился:

– Конечно, если по уму рассудить, то гланды удалять – это очень плохо. Кажутся лишними, но это такое место, где скапливается то, что думаешь себе в голове, а вслух говорить не надо. Они поэтому и придуманы в таком специальном месте, как раз между умом и языком. К старости гланды, отец сказал, у кого они еще есть, уже не справляются, так как полные до краев. Поэтому старики принимаются болтать буквально про все и без умолку, – сообщил он, по-видимому, совсем уже личное, так как жил с двумя бабушками и дедушкой, известным говоруном. Посещения старым Фишманом классных собраний были сущим адом для спешивших домой, на часы поглядывавших родителей.

Вероломно лишенный прибежища для тайных мыслей, Антон хотел было с ходу высказаться в адрес доморощенного Авиценны, ему, без гланд, теперь многое было позволено, но все же решил сдержаться – и, как ни странно, получилось легко. «Сдержанность – это по-мужски! – похвалил он себя. – Да и наврал Фишман с три короба. Будь так, как он пугал, я бы не справился».

– Не-а. Фигня. – помотал он головой, говорить дольше еще было больно.

Шура очевидно расстроился, но ненадолго:

– Можно я у тебя «Аленку» возьму, а «Особый» оставлю? Ты же сам говорил, что до завтра тебе нельзя, а завтра еще кто-нибудь придет, – нацелился он на шоколад.

Поскольку плитку «Особого» принес сам Шурка, а «Аленку» – мама, то Антон решил, что это по-честному, и милостиво кивнул. Он был рад, что Фишман не в курсе про удаленный зуб, хотя было чуточку любопытно – что за теория на этот счет оживет в голове приятеля.

Про удаленный зуб Шура Фишман не знал

Про удаленный зуб Шура Фишман не знал. Еще он не догадывался, что случилось это досадное упущение, потому что фактически страдал за отца. Именно из-за Фишмана старшего его любопытный отпрыск и был лишен доверительной информации, в которой раньше отказа не было. «Утечка» не состоялась по причине затяжной подковерной распри, что вели отец Шурки и местный дантист. Весь сыр-бор коренился в «скобарстве и жлобстве» последнего, другими словами – невоспитанности и жадности, если наблюдать за конфликтом из окон семьи Фишманов. Ну не желал, и все тут, дантист платить цену за пломбировочный материал, которую назначила приторговывающая им мама Шурки Фишмана – женщина обильная телом и талантами, в том числе к предпринимательству. Еще она пела в Русском народном хоре и обличала по разнарядке обкома партии различные религиозные культы, в зависимости от аудиторией. Поговаривали, что мама Фишмана якобы пробовалась на роль Полины в «Пиковой даме» в клубе завода ЗИЛ – все знакомые отмечали ее контральто, – и уже подумывала о сценическом псевдониме, но что-то не сложилось.

Антон же изъятие зуба замолчал сознательно, иначе Шура тут же предложил бы ему обменять трофей на какую-нибудь дурацкую марку, а марки Антон не собирал – ни дурацкие, ни какие другие. Он собирал значки, по наивности, а может и правильно полагая, что металл надежней бумаги. К тому времени он коллекционировал значки уже восемнадцатый или даже двадцатый день. В его незамысловатой коллекции, не считая пионерского, похожего на подожженную октябрятскую звездочку и прикрепленного к лацкану залоснившейся школьной формы, имелись герб города Глазова, значок «Дружинник» с отломанным креплением и поэтому непригодный к ношению, и особая гордость – «Третий женский разряд по бегу». Сам Антон наверняка смог бы выполнить норматив «Третьего женского», и даже без особых усилий. Тем самым, получалось, что знак, которым должны были отмечаться чьи-то там достижения, принадлежал ему не просто так, но и как бы по праву, ну хотя бы отчасти по праву.

К сожалению, Антон не додумался распылить эту прелюбопытнейшую теорию на все прочие стороны своей жизни, не то стал бы отличником, самым прилежным сыном, да и вообще... кем бы только ни захотел. Понарошку, виртуально, как сейчас бы сказали, или «типа» стал. Но тогда виртуальной реальности не было и в помине, поэтому все мы больше мечтали, не уходя никуда, ни во что, глупо верили в чудеса, но порой они в самом деле происходили. А затем наступало утро первого января, и волшебная сказка оборачивалась разгромленным новогодним столом, убитым, но приукрашенным лесным деревом и серым глазом потухшего кинескопа, безразлично взирающим на все это унынье. Но машинка. Машинка-то! Бирюзово-белая «Чайка» на батарее. Она-то была! Что за чудо была эта «Чайка». Событие! И оно оставалось таким, когда я уже сам рассекал на соседском мопеде, совсем не игрушечном, и бегал по женской норме где-то примерно на третий разряд.

Как же выглядел тот значок?

Как же выглядел тот значок? Не могу вспомнить, и все тут. Словно песок в дуршлаге удерживаю, тупица. Сколько не напрягаюсь, а все равно не выходит – общие очертания, да и те размыто. Если увижу – тут же признаю, уверен, но никто мне значок не показывает и не собирает – с чего бы? Все детали выветрились из памяти, похоже, что прельстилась она на что-то более важное, а места не было, вот и подвинули. про значок. Хотя, казалось бы, что может быть для меня сегодня важнее? Фигляр. Увы, про память – все правда, ерунда какая-то с памятью. Недавно набрал номер одноклассницы, понадеялся, что не съехала из Москвы (года три назад встретил ее совершенно случайно на выставке, совершенно случайно узнал, а если по правде, то это она узнала меня), захотелось голос услышать. На другом конце подняли трубку «Да. Але.», а у меня имя напрочь из головы вышибло: Ира? Наташа? Вернул трубку назад в гнездо – тихонечко, стыдливо, будто там, оттуда, с другого конца линии за мною могли наблюдать.

«Конечно же, Аня!»

«Хотел голос услышать? Услышал», – успокоил себя и отказался от идеи перезвонить: вдруг не Аня? И телефон непоручусь, что правильный. Нечего было дураку от визитки отказываться, а то распушил склеротик хвост: у меня отличная па-амять! Отличная па-амять! С другой стороны, визитка – это как-то уж очень официально, странно бы это выглядело, тоже по-дурацки. Куда ни кинь всюду клин. Тем более, что самому взамен предложить было нечего, да и вроде как мы сто лет знакомы. Вот и. запомнил, болван самоуверенный. Своих визиток нет, вот и. закомплексовал. Трижды болван!

Какой цвет был у поля, по которому несся золотистый бегун на значке? И куда он бежал – направо или налево? Если бы я придумывал изображение для значка, было бы однозначно справа налево, хоть какая-то цель, смысл, если понимаете, о чем я. Был ли он женщиной или мужчиной? По идее должен был быть женщиной, раз разряд женский, но мы и тогда жили в мире мужчин, где быстро бегущую женщину вполне мог заменить быстро идущий мужчина. По какой-нибудь специально составленной таблицей эквивалентов. И вообще, прочитывался ли пол фигуры на лицевой стороне значка? Впрочем, без очков я уже и на улице не всегда различаю бегунов и бегунш. Или бегуний? Не знаю, простите, как правильно. Спорт – не совсем мое, хотя сколько ни препарировать этот факт, причина безграмотности в нем вряд ли найдется. Мама, кстати, мне говорила как раз обратное.

Последним моим соприкосновением с миром большого спорта, а для меня владелец хотя бы одной гантели уже очень большой спортсмен и чемпион мира по владению хотя бы одной гантели. Словом, это была милая домохозяйка, консервативно, не в ногу со временем, улепетывавшая трусцой от инфаркта, целлюлита и прочих напастей, включая совсем неспортивного мужа. Она сперва забегала ко мне, потом. А после мы пили зеленый чай, я вручал ей собаку, они уходили и бегали вместе. Собаку я спустя час забирал на улице. Собака обожала бегать, меня же бег никогда не прельщал, как и мужа домохозяйки. Очень странно, что я ему не понравился при таком широчайшем совпадении вкусов. Впрочем, какую-то долю симпатии, пусть и надежно укрытую, он ко мне все же испытывал, потому и до драки дело не дошло. Говорить в таких случаях особенно не о чем, и расстались мы с приятным мужчиной, так толком и познакомившись, а с женой его, не разобравшись – что это за беготня такая была? Пес остался со мной в ожидании новых оказий, он обожал в жизни три вещи – еду, бег и разнообразие.

Все это я рассказал к тому, что женщина так же не смогла вспомнить никаких подробностей о «Третьем женском», хотя неосторожно похвасталась, что у нее такой был.

Память Антона Германовича не так ленива

Память Антона Германовича не так ленива и, судя по всему, более ему послушна. Тоже, случается, временами бастует, но без фанатизма, не то что моя, отделившаяся от меня словно Косово от сербов, с близкими по масштабам моральными и физическими потерями. Антон Германович хорошо помнит цвет значка. Уверен, что тот был зеленым. Но у него другая проблема: не может сообразить – успокаивает зеленый или наоборот – мобилизует? Как и то – зачем ему это знать прямо сейчас? А еще из его головы напрочь испарились сведения о судьбе коллекции из четырех значков, так что, вполне вероятно, мои щедрые авансы его памяти были слишком поспешными и необоснованно лестными.

Впрочем, может статься, все забытое и не испарилось бесследно, а валяется до поры до времени в неведомом и невидимом докторам дупле, я это так себе представляю, как тайный кариес внутри головы. Валяется и ждет нужных совпадений. Вот оно! Как же я раньше-то не додумался, тютя: если бы мне суждено было дозвониться по нужному номеру, а не набранному как в тот раз «от балды», то в ту же секунду и всплыло бы нужное имя, само. А то – Ира, Наташа... Или все ж таки Аня? Значит, облажался с номером. Значит, где-то там, возле верного номера имя скрывается. И про цвет значка тоже где-то там. Будем ждать. Потому как хорошо бы проверить Кирсанова. Я ему, конечно же, доверяю, но не во всем, не в таких важных вопросах: в какую сторону улепетывает фигурка. К тому же зеленый цвет никогда мне не нравился, хоть и служил долго. Может, кого-то он и успокаивает, другого бодрит, а меня раздражает. Выходит, что не беда, что пропал значок вместе со всей кирсановской коллекцией. Для меня не беда. Для него, скорее всего тоже, раз забыл, как это собственно произошло.

Возможно, Антону Германовичу стоило бы напрячься и тогда шансы вспомнить, что продел он коллекцию на картежной дуэли в секу, оказались бы выше. В тот день сопернику дважды сдали шаху – карту, что играет в секе роль джокера, а проигравшему не с руки было сомневаться в удаче и честности раздававшего. Значкам, переехавшим в новый карман, захотелось частичку привычного окружения, так вслед за ними с кона ушел подаренный отцом фотоаппарат «Зоркий». Пришлось врать родителям, что хулиганы отняли. Повезло еще, что в день картежных баталий схлестнулся с парнем из соседнего двора, лаз в заборе не поделили, и домой Антон явился с разбитым носом, так что «с чистой совестью» мог оправдываться, будто бился за «фотик» сколько хватило сил, но обидчиков было двое, и оба старше. Ту ночь Антон напролет провздыхал в подушку и зарекся еще когда-нибудь прикасаться к картам, а заодно и к домино. Нарушал потом, ясное дело, сотни раз нарушал, но и играл исключительно на интерес. Только раз поддался. И поплатился. Мог бы вспомнить все эти детали, ему бы самую малость сосредоточиться, близок был как никогда, однако именно в эту секунду Антону Германовичу, неспешно, с достоинством вышагивающему по Красной площади, преграждают дорогу.

Азиат

Азиат. Подслеповатый на вид, как они все, глаза почти совсем не видны, только ресницы. Взгляд чувствуешь, но не видишь, не удастся поймать, как нужную мысль в трудной ситуации, если заранее не готов. Азиат немного заискивающе улыбается, при этом мяукает нечто свое, совершенно невнятное. Странно, если сам себя понимает.

«Неужели в самом деле рассчитывает, что в Москве вот так запросто, в первом, или – неважно – десятом, двадцатом встречном обнаружится знаток его редкого, диковинного на слух языка? – удивляется про себя Антон Германович и тут же досадует, сказывается настроение: – Здесь за грамотной русской речью побегать придется, ноги до коленей сотрешь! Да и какая она теперь считается грамотной? «Типа» грамотной?»

При всем охоте и старании уловить, в чем нуждается гость столицы, Антон Германович вынужденно пасует. В конце концов никто туристу не обещал, что будет легко. Или именно это ему и обещали? Тогда он, можно сказать, свой парень в доску, только язык пока не дается, но таких – половина Москвы, а то и больше уже.

Интуиция подсказывает Антону Германовичу, что, скорее всего, у него выпрашивают дорогу. Стоит заметить, что с таким же успехом азиата могут интересоваться:

- Московское время;
- Прогноз погоды на день вылета черт знает куда;
- Виды на урожай и цены на изделия из него;
- Причины отсутствия на прилавках хороших грузинских вин;
- Наличие в стране иных достойных доверия и власти граждан, кроме уроженцев и выходцев из Северной Пальмиры, наградившей нас вечным триппером революций;
- И какого хрена Газпром, Следственный Комитет и министр спорта рекламируют себя по центральному телевидению?

Если бы Антон Германович допустил такую возможность, то ответил бы взвешенно, лаконично, без запинки, по пунктам, как учили, как теперь учит сам: «Поздно уже. Дождь. Как всегда. Мудаки. Пока нет. Да и х. с ними». Вместо этого он вежливо улыбается, безотчетно щурится, почти так же как сам азиат – расположенность к мимикрии уже не изжить... Странно, обычно его раздражает, если вклиниваются в размышления, прерывают ход мысли, пусть и думает о ерунде, неважно, да и к азиатам он как-то не очень. Чувствует, наверное, ответственность москвича, хоть и номинальный, как я за него однажды уже решил.

Антон Германович пожимает плечами:

– Не понимаю.

Для таких жестов толмач не нужен.

«Кенгуру», – тут же мысленно, неизвестно зачем, без каких-либо внешних причин вроде бы переводит он сам себя, будто кто подтолкнул, на неведомый и сомнительный, что до письменности, язык.

По-моему, слово «кенгуру» выдумал капитан Джеймс Кук на пару с безымянным аборигеном через несколько дней после того, как в конце апреля 1770 года неповоротливый и тяжелый корабль «Индевор» впервые бросил якорь у берегов Австралии. Есть история, будто Кук, тыча в кенгуру пальцем и допытываясь у аборигена – «Как называется?», услышал в ответ «Кенгуру!» и принял слово за название неизвестного доселе зверя. На самом же деле абориген якобы талдычил ему «Не понимаю я.» Очень симпатично. Для Антона Германовича кенгуру всю жизнь – синоним непонимания, с тех пор, как однажды, давным-давно, он услышал эту историю. Ни одну другую версию на веру не принимает. Боюсь, что и книжки в этом деле окажутся бесполезными, даже если очень умными будут книжки. Те, в которых яйцеголовые лингвисты утверждают, что «кенгуру», ну или почти так, – в самом деле, название животного

на кууку-йимитирском языке австралийских аборигенов, услышанном все тем же Куком. Сухо, неаппетитно, скучно, одним словом. Так что я целиком и полностью на стороне Кирсанова, даже если это приверженность историческим анекдотам. Пусть.

Мне думается, что произойди встреча Кука с аборигеном в наши дни, современный вальяжный капитан Джеймс великодушно усмотрел бы в «. гуру» почтительность обращения, а по поводу «кен.» решил бы, пожалуй, что босоногий и голопузый мальчик с лицом старика кланчит у него фигурку бойфренда белокурой пустышки Барби, о которой мальчики всего мира до онемевших пальцев мечтают под одеялами, млеют, и плевать им всем на пластмассового соперника. Девочки же готовы безоглядно прозакладывать души, лишь бы походить на эту куколку статью и быть объектом внимания супер-чувака из породы Кенов, или хотя бы не самого прыщавого одноклассника, если с талиями и локонами не очень выходит. Но за душами их никто, кроме доморощенных сутенеров и Макдональдса, не охотится, и они выбирают целомудренно: неутомимо лопают гамбургеры, чуть позже, по советам подруг-манекенщиц, выbleвывают проглоченное и бегом несутся в спортзал, чтобы жирок не успел завязаться и вес накопиться. Так и живут: лопают, блюют, потеют – и при этом толстеют как на дрожжах. Именно поэтому мальчишки, даже самые дохлые и прыщавые, отдаются в грезах белоголовым куколкам Барби. Именно поэтому девчонки так мечтают на нее походить. Жизнь, одним словом, все взаимосвязано. Или это заколдованный круг?

Еще думаю: Кук запросто мог бы заподозрить бы в аборигене, проявившем интерес не к Барби, а к Кену, столь обычную нынче широту взглядов известно на что.

Мальчишество?

Не больше того, что в следующее мгновение позволил себе Антон Германович.

Кенгуру

– Кенгуру, – повторяет он вслух, явно из озорства. И тут же, представив себе, что перемены в лице азиата – это промелькнувшее недоумение, переводит по-своему с кууку-йимитирского:

– Не понимаю.

Неужели таким способом понадеялся Антон Германович побороть поганое настроение? Или сподобился ненаучно восстать против тех ученых, которые разнесли в пух и прах популярную версию о происхождении имени сумчатых австралийских симпатяг? «Кенгуру» им, видите ли, занудам, перевести не удастся. До чего же скучные люди эти лингвисты! Похоже, что любые другие проблемы обходят их стороной, если озаботиться больше нечем.

На всякий случай Антон Германович улыбается еще шире: черт знает, какое значение это слово может иметь в языке азиата, а сам он уже не тот боец, что прежде: разве что один раунд худо-бедно выстоит в щадящем режиме, если соперник не особо упертый.

– Зоо? Парк? Ноу. – азиат неожиданно проявляет догадливость и даже демонстрирует способность относительно разборчиво объявить об этом окружающему его миру, а в нем и Антону Германовичу, который сожалеет лишь, что в произнесенных азиатом словах нет буквы «л» и не получится выяснить – уж не японец ли перед ним? У японцев с «л» сложности.

А спросить? Спросить – слишком просто, мы так не живем.

«Сплошь невезенье», – думает он, продолжая приветливо улыбаться, как ему кажется – добросердечно, как маленьким детям..

– Зоопарк есть! – не соглашается Антон Германович в ответ, сдержанно показывая руками, скорее даже кистями рук во все стороны. Жестикулирует он аккуратно, скупое, будто утомленный гид – «Нет сил дальше с вами нянчиться, сами смотрите налево-направо» – или потерявший кураж фокусник. Нет причин у Антона Германовича привлекать интерес к своей персоне тех граждан, кому должность предписывает быть любопытным. В конце концов, он здесь не с проверкой.

– Даже не сомневайся! – утвердительно кивает он недоумевающему азиат. – Зоопарк тут всегда есть. В любое время года. Всегда с нами. Вот так-то.

Антон Германовича подмывает дослать вдогонку «сынок», но, во-первых, «сынок» может оказаться, на поверку, на пару лет старше «папаши», а во вторых, это обращение мало перекликается с возрастом, потому и не повод употреблять его где и с кем ни попадя, не ровен час выйдет косо. И в третьих: столько лет жесткой выучки.

– Спа-си-бо! Зоо нам ноу, – вежливо кивает надоеда.

– А мы, уж поверь, брат, только о нем и мечтали, – отвечает Антон Германович.

– Спа-си-бо! – еще раз, теперь с легким поклоном и улыбаясь дежурнорастерянно, благодарит неумный азиат. За то, наверное, благодарит, что мы свои чаяния сохранили исключительно для себя, с миром не поделились.

Заблуждается гость столицы. Еще как поделились! Теперь все ранее «осчастливленные» общим зоопарком, живут по-соседски порознь, пытаются разобраться – «кто в ответе?» и «кто заплатит?», ищут, дабы отделить «неудобоваримое», как Антошка Кирсанов в сопливом детстве. А оно не дается, крепко засело. Да что там засело – вросло, как запущенный ноготь, без хирургии, похоже, не сладить.

Говорит азиат коряво и притом несколько нараспев, волнуется, слова старается правильно произносить, по слогам. Так еще умудриться надо, но выходит вполне себе ничего, Антон Германович все понимает.

«Спасибо» звучит, как «Спаси бог», что особенно мило.

– И тебя, – добродушно отвечает Антон Германович, больше себе под нос, улыбаясь, тем более что они уже разминулись.

«Твой бог, – добавляет через короткую паузу, – вряд ли христианин».

Ему кажется, это уместно, не резон своего господя отвлекать на каких-то там чужаков. По оценке Антона Германовича, тот и с опекой своих не очень справляется, на троечку, даже бывает – с минусом. Сачкует или времени не хватает? Нет ответа, но что-то не так, и сейчас Антон Германович чувствует это как нельзя остро, потому что справа от него Кремль – Мекка нынешних швондеров, уплотнивших преображенских и иже с ними не в отдельно взятой квартире, а в масштабах огромной страны.

«Не со всех сусеков еще взяты соскобы. Если к вам до сих пор еще не притулился Шариков, не спешите торжествовать, выжидайте, соблюдая спокойствие и номер в очереди, повинуюсь проповедям с экранов, пока подтягиваются резервисты. Среди них и найдется ваш «суженый». А они подтянутся. Не сомневайтесь. Непременно подтянутся, потому что «Сапсан» никогда всерьез не задерживается, собака, если так можно о птице.» – вспоминает Антон Германович, возможно и не дословно, вычитанное тайком в дневнике жены, и легкость, привнесенная в его жизнь понятливым- непонятливым азиатом, мгновенно уходит.

Эту страницу он аккуратненько удалил, измельчил в лапшу и спустил в унитаз. Без эмоций, без обид, без угрызений совести – тоже, даже без внутренних воплей: «Вот же дура! Под монастырь подведет!» Потом вернулся к столу, записал текст по памяти карандашом и убрал в сейф, сложив самолетиком. Зачем самолетиком?

«Не может быть, чтобы за целый месяц ничего не заметила, – беспокоится в который раз. – Но, поди ж ты, виду не подает! Ждет, наверное, что сам заговорю. А о чем тут говорить? Правильно все. Только писать не надо. И на виду оставлять тоже. А если говоришь, то думать – с кем и при ком. Курица.»

Самому ему редко бывает страшно, больше за близких опасается.

– Не волнуйся ты так, – успокаивают его в таких случаях дочери, как и мать не сдержанные на язык. – Что у нас отнимешь? Кисло у нас и с имуществом, и с бабосами. А где нечего взять – туда нынче не ходят. Так что – шуми сколько влезет, все равно толку не будет. Такие сейчас, папулечка, времена, если ты не в курсе.

– Вы мне тут не умничайте, чаю лучше поставьте, – не желает он всерьез учить их уму разуму. Просто не понимает: как?

«Бесполезно. Не поверят. Могут и согласиться, чтобы настроение отцу окончательно не испортить, но не поверят. Про себя же парирует: пока живой, всегда есть что отнять». Может и счастье, что не понимают?

Верно чувствует: переживания его для дочерей – общее место. Ему и самому не нравится выпирающая казенность этой мысли, про жизнь и отъём.

То, что думает он сейчас о Кремле, ему тоже не нравится, но не выходит по-другому, никак не получается.

Ленинградский окоп

«Ленинградский окоп, право слово, а не Кремль. Впечатление, будто вся страна занята отыскиванием-изобретением в своих семейных архивах – преданиях корешки, протянувшиеся к берегам Невы. Будто и в самом деле не было ничего на этих землях до Петра. Выкресты вон тоже, как ополоумевшие, все вдруг стали рьяными православными. Как-то «по нужде» все это выглядит, вымученно».

На службе у Антона Германовича есть отчаянные – или провокаторы?.. – что шутят: неровен час, возле царь-пушки табличку приделают: «Осторожно, сюда долетают опасные голоса с улицы!», чтобы, мол, оградить замечтавшихся в заботах и тяготах небожителей от потрясений чужой и откровенно чуждой им жизни.

Хотел бы Антон Германович сам быть в числе тех нежно оберегаемых? Честно? Не знаю. В любом случае, сам вряд ли скажет, а гадать. Либо да, либо нет. А если нет, то чего тогда лямку продолжает тянуть?

У меня, кстати, так, на всякий случай, паспорта деда, и отца хранятся, в обоих прописка ленинградская. Берегу. В отцовский, кстати сказать, и я вписан, ни много нимало, а три доказанных месяца ленинградской биографии. На успешную карьеру не тянет, но я ничего особенного и не жду: во-первых, многое уже было, во-вторых – годы не те, чтобы губы раскатывать. В смысле, мои годы. Так что запросы вполне умеренные, если знаешь куда их посылать, и с кем, чтобы не послали оттуда. В третьих, здоровье все чаще норов за прошлое предъявляет, всерьез отделяется от меня, не то что церковь от государства, не факт, что вообще успею потратиться.

Паспорта на даче припрятаны, лежат себе в отдельной коробочке. Сорок минут до места и назад столько же, примерно полтора часа в обе стороны, если на такси. Вот только денег жалко. По аппетитам нынешних дней у меня их на пустопорожние покатушки нет. На расходы пойду, если только наверняка буду знать, что оно того стоит – выпало счастье. Если сомнений не будет, что потом с налету «три конца отобью», как моя дочь выражается. Такой вот еще один заколдованный круг. Как с девочкой, жалующейся врачу, что в прыщах вся, и никто не любит.

Столько всего поменялось

Столько всего поменялось. Когда мне лет было, сколько сейчас моей дочери, услышь я из девичьих уст про «отбитые три конца», право, не знал бы, что и подумать, но уж точно никак не про заработки. Уж больно разбитные они нынче, на мой вкус. Разбитные и языкастые. У Антона Германовича, кстати сказать, старшая дочь, Ньюша, такая же оторва, как и моя, даже побойчее и поскандальней моей будет. Иногда и через добротную кирпичную кладку ее слышно, будто кто радио приглушил. Впрочем, они, Кирсановы, все голосистые, разве что Антон Германович все больше отмалчивается, не участвует в перепалках.

«Это все вы, ироды, голь перекатная, романтики гарнизонные с трехметровыми вашими засранными кухнями, где двум тараканам не разойтись, а вы еще танцульки умудрялись устраивать, это вы меня такой сделали, генеральская парочка, а теперь, видите ли, недовольны они! Да сказать кому стыдно! Я как Золушка.», – выдает Кирсановым время от времени их дочурка, так ни разу и не удосужившись просветить соседей: почему же она «как Золушка»? А ведь людям еще как интересно!

«Виновные установлены, дело за приговором, – пропускают звук стены. Голос грудной, низкий, боль с иронией – жуткий коктейль. – Ну давай, дочь любимая, огласи вердикт.»

Это – Маша, жена Антона Германовича. Как-то пожаловалась, не мне, но в моем присутствии: «Если бы сама не родила, не поверила бы, что моя.»

Раньше она заводилась, обзывала дочь неблагодарной «якалкой», сестру ей в пример ставила, отца защищала, но постепенно остыла. Наверное, поняла, что бессмысленно все это. Только отношения портятся, как негодным лекарством недуг лечить. Примирилась.

«Люблю тебя и все прощаю, – стала говорить дочери. – И ты простишь. Знаю ведь, что любишь.»

Для меня загадка, каким образом снизошло на нее это примирительное озарение? Уже год, как ей удалили последний зуб мудрости, ночью, в дежурной стоматологии. Откуда такие подробности? По несчастью сам маялся в соседнем кресле, правда мой случай оказался легче. Щеку Маше так разнесло, что если бы она водолазом трудилась, то шлем брать пришлось бы на три номера больше, если такие здоровые вообще выпускают. Я ей все это рассказывал, пока меня вежливо не попросили заткнуться.

Антон Германович на сольных выступлениях дочери чаще молчит. Ни свиста, ни криков «бис», ни вежливых ободряющих аплодисментов. Домашние выяснения отношений ему не интересны. Они предсказуемы, однообразны и напоминают потерявший смысл и заездивший содержание, по неясным причинам сохраненный обряд. Это только соседи за стенами ожидают добротного, обстоятельного, без слюней примирения скандала, втайне мечтая о драке или хотя бы битье сервизной посуды. Непременно сервизной. Недостаточно им обычной, разрозненной, с выщербинками там- сям, какую своим ставят.

Меня всегда занимало: какого черта своим, кого любим, кем дорожим, мы готовы всучить блюдец с отбитым краем, тогда как для посторонних – самое лучшее не столе? Вроде как, перед чужими в лучшем свете предстать, а свои – это свои, они и так все про нас знают? Наверное. Одно утешает: в мире с этой странной привычкой мы не одиноки, показуха – не только отечественный сюжет. По этой причине в зарубежных вояжах я редко бываю в одних и тех же местах, чтобы не привыкали, и вообще не стремлюсь сблизиться с кем бы то ни было до рюмок со сколами. Даже если не уважают, говорю себе, то пусть делают это с шиком. Таков мой скромный вклад в воспитание человечества.

И сидят измученные ожиданием соседи, замерев у обоев, натертых ушами до сального блеска, скрещивают пальчики: «Ну давайте же, наконец. Ну сколько можно сопли жевать. Дать бы ей раза, заразе такой языкастой! «Золушка» она, мать ее.»

Все скандалы Антона Германовича происходят на службе. Частые. Ему их с лихвой хватает. Дома он наблюдает за происходящим, отгородившись книгой, газетой, иногда уткнувшись в телевизор, хотя телевизор мешает прислушиваться и можно прозевать момент, когда понадобится его вмешательство. Невмешательство будет чревато резкой переменной темы скандала, в результате чего обе женщины ополчатся против него. Такое уже случилось, и не раз.

Обычно мать и дочь примерно с четверть часа выдерживают набранный с ходу темп, каждая своей. Обе при этом строго отслеживают, чтобы роли не перепутались, следуют заявленному в программе сценарию: юность упивается безоглядными обвинениями, обличает, унижает, витийствует, в то время как зрелость сдержанно и с достоинством соглашается:

– Все правда, доча, все так и есть.

Про всепрощение и любовь вы уже в курсе.

Потом – покаяние с обеих сторон, слезы в четыре глаза, сопли в четыре ноздри, а Антон Германович отправляется на прогулку по «нетерпящему отлагательств» делу.

«Золушка. – злится он, стараясь не наступить в непотребное в темноте прилегающих к Тверской переулков. – Ходячее невезение, а молитвы все об одном и том же: чтобы нашлась тетушка-фея или дядюшка-фей и наградили бедную Золушку немеряной денежкой, настоящими упругими сиськами, износоустойчивыми, но главное, чтобы без имплантантов. Имплантанты – пошлость, для имплантантов феи не нужны. – передразнивает он дочь. – Тьфу! И все равно любимая. Вот же дура! А насчет виноватых, – нехотя соглашается, когда сам с собой – можно. – Насчет виноватых, тут не поспоришь, тут, пожалуй, права.»

Вернувшись домой, обнаруживает, что от его коньячной заначки остаются голубиные слезы. Жалуется потом:

– Что за бабы! Я ведь и спрятал с умом.

– С умом. Профи. – передразниваю и язвлю я. – Потому и просрали.

И не дожидаясь вопроса «что именно?», сам уточняю без обиняков:

– Все просрали. Вот и заначку теперь.

Сам не знаю, что говорю, просто обидно, тоже, между прочим, на эту заначку рассчитывал. По-соседски.

Почему вдруг именно Вацлавах

Почему вдруг именно Вацлавак. Он же – Вацлавская площадь в Праге вспоминается сейчас Кирсанову? Неужто брусчатка причиной? Она, родимая, что же еще. Маша тогда сломала каблук только что купленных туфель.

Переобулась сразу у кассы, под неодобрительные, исподтишка – «Ой- ой, прям сразу и в обновке.» взгляды случайно встреченных в магазине соотечественниц.

«Да пошли вы все. Хочу щеголять, и буду»

И на тебе. Через двадцать шагов – хрусь!

«Вот же глазливые стервы!»

Пожилой, исключительно вежливый продавец, суцая для советского человека невидаль, без дискуссий и пререканий объявил, что не видит ровным счетом никаких сложностей, в Италии, мол, тоже случаются проблемы с качеством, и запросто поменял пару. Пока примеряли замену, продавец не переставал галантно извиняться, слегка туманно по содержанию, потому как пытался говорить комплименты на русском. «Мила-а пани-и» так или иначе звучало обворожительно. На прощание он положил в обувную коробку тюбик крема редкого темно-вишневого цвета, как раз для купленных туфель. Поинтересовался:

– Мила-а пани-и хочет идти в новых?

Маша вежливо отказалась:

– Спасибо. Пожалуй, нет, не хочу.

– Тебя хочу, – шепнула Антону на ухо, краснея и благодарно целуя мужа в щеку, второй раз за одну и ту же, по сути, покупку; везучий. – Но сегодня, увы, никак. И зря мы затеялись с туфлями, извини, это все я, дура. Будто других проблем нет.

– Ма-аш, ну чего ты.

Странно. Им обоим бы радоваться – так легко и непринужденно все образовалось, само собой, а вечер вдруг раз – и впал в безнадежную грусть. С тех пор ни Антон, ни Маша не любят мощные камнем пространства, будь то улицы или площади. Впрочем, Машу Кирсанову не манят и загородные прогулки по тропинкам, проселкам и бездорожью. «Люблю только асфальт!» – обожает она повторять свой коротенький «манифест». Так возвышенно окрестила собственное заявление – декларация, программа и принцип действий в одном слове. Понимай: все прочие граждане, с иными воззрениями, отдыхают.

– Но раньше ты так любила собирать грибы, – удивился, даже несколько растерялся Кирсанов, когда «манифест» был «опубликован» впервые.

– Раньше, Антоша, мы обожали лопать лисички и в головы наши дремучие прийти не могло, что лисички – настоящие пылесосы по сбору всякой гадости из почвы и воздуха, – пожимала плечами Маша, наводя Кирсанова на философскую мысль, что женщины меняются намного быстрее жизни. И жизнь вынуждена под них подстраиваться, поскольку нет у нее, у жизни, другого выхода – жить-то надо!

В злополучных туфлях Маша вышла раз или два. Разлюбила еще тогда, на площади, в одночасье, будто они обманули ее, подвели. И неважно ей было, что пара уже другая.

Темно-вишневые туфли старшая дочь Нюша сносила, когда нога доросла. Младшая, Ксюша, ей до слез завидовала. Тем более, что несмотря на два года разницы ростом младшая сестрица старшую превзошла, а ступня все маленькая да маленькая. Вот незадача... Зато платья мамы сидели на ней чуть ли не лучше, чем на самой Маше. Поэтому младшенькой и запрещалось строго-настрога «шарить по чужим шкафам», а старшей – по обувным коробкам. Нюша соблюдала правило, Ксюша – нет.

– Уж если берешь что, так хотя бы запоминай, будь любезна, где и как висело. И в кого бы ты у нас такая беспечная?

– В тебя, мусичка, ну не ругайся, пожалуйста!

– Ох, подлиза! И задавака! Ну-ка, ну-ка? Подойди-ка сюда. Чем это ты надушилась, золотко?

А тюбик. Ну, тот самый тюбик с кремом редкого темно-вишневого цвета. Его так никогда и не распечатали. Да и не вспоминали о нем. Старшей дочке он был без надобности, чем-то подручным «шрамы» замазывала, как-то обходилась, а скорее всего и не знала о том, что есть такой в доме.

Маша наткнулась на тюбик случайно, на антресолях, полгода назад, во время ремонта. Призналась Антону, что плакала, вспомнив. Не то, чтобы заново драму переживала, да и не было никакой драмы, просто подумалось вдруг: как давно все это было.

– Антон, ты посмотри, он же каменный.

Пока Маша ворошила коробки с киноплёнками и налаживала допотопный проектор, Антон Германович сходил в гастроном и вернулся с полудюжиной чешского пива отечественного производства, ожерельем сарделек, выдававших себя за чешские шпекачки – такую легенду им смастерил Кирсанов. Сардельки-шпекачки не подвели, пиво тоже, все получилось.

Память подсказывает Антону Германовичу, что пражане называют свой булыжник «кошачьими головами», и он отмечает с иронией, что отнюдь не впервые в жизни шагает по «головам», про себя усмехаясь явной двусмысленности.

Неужто опоздал?

«Неужто опоздал?» – задается Антон Германович вопросом, что давно на очереди, но забитый какой-то – не позвали бы, так бы и затерялся среди других, опасаясь высунуться. Людей с такими качествами руководители любят, да и вопросы «нешумные» собственно тоже мало кого раздражают, поскольку ненавязчивые, и жить не мешают. Гораздо хуже другие, что не никак хотят совпадать с подготовленными ответами. Эти как грипп с осложнениями.

«Ну точно, Манежная уже перекрыта. Наколдовал себе новых трудностей жизни. Нечего было выпендриваться, пердун старый», – ругнул себя Антон Германович.

Это он о предложении «новенького зятяка», свежеиспеченного мужа старшей дочери, подобрать где-нибудь тестюшку на машине, домой подбросить. Вроде как не трудно ему, даже вроде как в удовольствие. «Нет же: «Сам доберусь! А понадобится – служебную вызову». И спасибо не выговорил, пожадничал слово. Гордый! Сам с усам. Водителя своего сам же отпустил на день. Где-то там, на Манежной, толкается, активист, а сказал – к матери в Клин срочно надо, дров там нарубить, денегат подбросить и вообще. навестить. Чего, спрашивается, врал? Ладно, активист он. Знает, что не люблю, вот и таится, балбес. А то, что врать начальству – верный путь вылететь к чертовой матушке на огород картошку окучивать – этого он не боится! Ну получит у меня завтра «на орехи». Врать вздумал. Откуда вообще знает: что мне нравится, а что нет? Слышит много? Длинноухие нам не нужны, менять надо водителя. И чего я вообще сюда потащился? Вот и водителя, считай, выгнал, как будто не знал, что мать его год как перебралась из Клина в Солнечногорск, к дочери. Права была Машка: сиди у телевизора в теплых тапках и смотри. Все и так покажут. По несколько раз на каждом канале! Еще устанешь повторы смотреть. Подышать дураку вздумалось. Хорошая шутка – в Москве подышать. Атмосферу почувствовать захотелось? Чувствуй теперь. Как же. Прогуляюсь-ка я по Красной площади, а заодно гляну, что там на Манежной! Чего-то нам еще не известно, чего-то нам еще любопытно!» Тот Антон Германович, что про себя произносил эти слова, был ироничен, надменен и вообще – хоть куда. Тот другой, что все это безмолвно слушал. Неприятно ему было все это слушать.

«Хотел воздуха – вот и дыши теперь!» – командует себе зло.

И впрямь пару раз глубоко вдохнул. Осадил: «Вот же в самом деле болван!»

Опоздал.

Подходы к Манежной запружены, где-то там, за спинами – ограждение. Конечно, не препятствие для Антона Германовича с его «корочками» – «вездеходами», но проталкиваться, объясняться. «Да и стоит ли оно того? В самом деле, пройдусь еще разок по кругу, раз уж притащился, а потом – через Васильевский на набережную, а там, даст бог, где-нибудь и такси словлю. Или битой по башке старой и бестолковой».

Легкий толчок под руку, случайный, «Простите!». Стайка молодых в натянутых поверх одежды майках – или жилетках? – с надписью «НАШИ». Не оглядываются на Антона Германовича, может быть, это вообще не ему.

«Не очень-то пунктуальны. Молекулы мирной гражданской войны, пока мирной... Или все же бациллы? – отвлекается он на новые предметы, это куда интереснее, чем себя, любимого, клеймить почем зря. – А может быть про войну я вообще загнул лишнего? Черт их разберет! Разные, наверное, встречаются в этой организации. «Наши». – и «хотелкины» и «могловы».» Так выразился один знакомый Антона Германовича, ему тогда не понравилось, поморщился, немало смутив собеседника. Теперь вот вспомнилось – и ни следа раздражения. Он еще раз повторил про себя: ««хотелкины», «могловы». А ведь ничего, недурно! «Хотелкиных» все равно больше, как и везде, как обычно. Этим все одно, где размножаться – что на воле, что в неволе».

Если по совести, то Антону Германовичу и движение «Наши» не по душе, и молодогвардейцы-единороссы, и прочие всходы ударной кремлевской посевной, продукты политического земледелия. Не каждый в отдельности, а все разом, в массе. Однако больше всего неспешно вышагивающего по Красной площади видного мужчину с офицерской или актерской выправкой, если в репертуаре наличествует военная тема, о котором при скудном освещении, обычном для этого позднего часа, можно сказать «моложавый», злят-бесят «небожители», что плодят все эти движения, объединения, швыряют им деньги, покупая сиюминутную лояльность юнцов. Те, пыжась от оказанного доверия, с готовностью откликаются на потребности старших товарищей, а заодно и подсматривают у них завидную жизнь, по наивности веря, что еще чуть-чуть, и такой же станет их собственная.

«Слишком много вас, а корытце с каждым днем мельчает и мельчает. Сколько голодных-то набежало! Что будет, когда своим умом допрете до этого, или подскажет кто вовремя, где чужих, не наших искать, что во всем виноваты? Вовремя. Для кого вовремя? И о ком ты все это, старик? Неужто о тех, кому все последние годы с отвращением преданно служишь? Эк развоевался. Гуса-ар! Нечего сказать.»

Антон Германович лезет в карман пальто за сигаретами, но они, как водится именно в таких случаях, преспокойненько поживают в другом.

«А зажигалка, черт ее подери, куда запропастилась?»

– Огоньку, отец?

Еще троица «наших».

– Хорошо бы, сынок. Век буду признателен.

«Вот и «сынок», сэкономленный на азиатке, сгодился.

– С праздником тебя, отец!

Мог бы под дурака «закосить», поинтересоваться: «С каким-таким праздником?», но и без того противно. «Тебя.»

– Спасибо. Шустрее давайте, и так уже опоздали.

– Мы теперь все успеем.

«Своего-то понимания жизни – две чайники на тазик, окрасить водицу и то не хватит, зато гонору хоть отбавляй!» – распяляется он, глядя в удаляющуюся спину «благодетеля» со товарищи.

Умом понимает, старый лис, что не в «наших» причина его нервозности и забившего гейзером обличительного запала. И даже не в их патронах и патронессах, распоряжающихся страной как удачным прикупом за ломберным столиком. В своей собственной тихой, унылой покорности. В том, что отдался целиком стабильно постылому ходу жизни. Жизни, в которой всегда будет дураков без счета, что живота не щадя непременно порадеют начальству удобно собою повелевать, потому что неприкаянными они совсем уж беспомощны и никчемны. А так, глядишь, «отстегнут» им за заслуги должностенку какую на бедность и, глядишь, не дурак уже, сам начальник.

«Спасибо. Шустрее давайте. – юродствует Антон Германович мысленно над собой, так затягиваясь, что язык жжет. – Чего же поскромничали-то, Антон Германович, ради такой победы вполне можно было и в губы, взасос. Вот это праздник!»

От последней пришедшей в голову шальной идеи он аккуратно, внешне не вызывающе сплевывает. Впрочем, поводом могла стать и крупница табака, чудным образом пробившаяся сквозь все круги фильтра. Табак ох как не прост, с чертом дружит. Случается, одну табакерку на двоих делят. Не думаю, чтобы это Гоголь для кузнеца Вакулы черта в табакерке придумал, так сказать для компактного размещения лукавого. Есть поверье намного старше, что от табака черти силу теряют. И куда, интересно, она девается?

«Все равно какие-то они оголтелые.» – никак не получается у Антона Германовича справиться с собой, избавиться от не желающих отступать мыслей. Это «все равно.» – жалкая, не

засчитанная попытка оправдать навязчивость мотива. Жалкая и неудачная. Так шлягеры проникают в мозг и селятся в нем, словно паразиты. Правда, шлягеры оккупируют жизнь не больше, чем на неделю-другую, потомдохнут.

«Родила царица в ночь. – непонятно к чему приходит ему на ум. – Еще одно поколение, пожертвованное. Не идея даже, лучше бы идея! Просто денежке. На говно разменяли. Вот и стала жизнь наша гуще, а народец пожиже. И причем тут царица? Искал бы сейчас зятю тарантайку – лучше было бы? Кто его здесь парковать пустит?! Бегай потом.»

Так и так не стоило с зятем договариваться

Так и так не стоило с зятем договариваться. Правильно, что Антон Германович отказался от услуг «новенького». Даже если бы повезло обоим – нашли друг друга, что вряд ли, – прел бы с ним битый час в пробках и молчал неудобно – говорить-то не о чем.

Говорить, наверное, все же было о чем – чего уж так-то. – вот только никогда бы они до общего не договорились. Однажды Антон Германович в разговоре с женой сгоряча назвал «новенького» Промокашкой: ничего, сказал, своего в голове нет у мужика, да и чужое, по большей части, нечетко. Правда, вынужден был согласиться с женой, через неохоту, что хотя бы про дачу зять сказанул удачно. Буркнул Маше в ответ, что было такое дело, потом уточнил: один единственный раз за все время, маловато для человека, а для Промокашки в самый раз.

– Дача, – напыщенно произнес «новенький» в первый воскресный визит на участок Кирсановых, – это место, где люди, одержимые погоней за карьерой и заработком, вымещают на природе злость от своих неудач.

И тут же прогнулся во избежание, без перехода:

– У вас, уважаемые, не дача. У вас – поместье. А природа-то какая! Ух какая. и слова не подберешь. Дочь тоже. То есть, все состоялось! Ну, в плане карьеры и вообще. И за сказанное!

Пил он хуже, чем прогибался. Так же настойчиво, и частил, но огоньку не хватало, задору. Потому еще до чая переключался на диван. Если не считать усилий дочери с тещей – а кто женский труд принимает в расчет? – перемещение «новенького» прошло почти добровольно.

– Неудобно, – сопел-мычал зять, пытаясь хоть как-то устроиться на бугристой поверхности и при этом не скатиться на пол. Не ясно было, о каким из двух неудобств ноет. В конце концов, инстинкты взяли свое, и он очутился в ложбинке под высокой диванной спинкой. Все Кирсановы знали про коварство этого места и хищнические нравы подпиравших снизу размякших пружин. Ночлег в странной позе давал знать о себе, как правило, поутру, когда наступало время разгибать ноги и распрямлять спину. Диван явно строили для недомерков, или для собак. Каждый участник застолья не отказал себе в удовольствии со злорадством – даже дочка, жена «новенького» отметилась – успокоить «уставшего» гостя:

– Удобно, удобно. Отдыхай.

«Хитрый засранец», – оценил его в тот раз Антон Германович. И угадал.

По мнению Антона Германовича, предшественник «новенького» сто очков вперед «засранцу» давал во всех смыслах. Зять с тестем, сговорившись, однажды даже на Валдае вместе смотались. По-тихому, почти на неделю. Отщипнули по несколько дней от отпусков в придачу к набежавшим отгулам, а женщинам своим, по неясной причине – скорее всего, из за растворенной в крови привычке конспирироваться, – сказали разное: зять выдумал командировку в Киров (мудро, потому что даже опытная женщина не способна придумать, что ей привезти из такого города), а вот Антон Германович сплеховал, про Ригу наплел. Пришлось у сослуживца срочным порядком бутылку бальзама по телефону одалживать, да еще упрасивать, чтобы на вокзал подвез, к поезду, к ночному, что было особенно неудобно.

Так ведь и не вернул Антон Германович должок. Когда вспоминает – стыдится своей необязательности. Правда, вспоминает все реже, несмотря на то, что емкость с целебным напитком – заметная, не похожая на другие, тоже заполненные полезным – по несколько раз за вечер на глаза попадает, в баре стоит, целехонькая, ждет своего часа. А вот сослуживец сплеховал, умер, не дождавшись, когда у должника совесть проснется.

На Валдае родственнички отдохнули хорошо, душевно: водочка, костерок, ушица, еще водочка, байки. Антон Германович, сколько знаю его, всегда был по части трепы большим мастаком. Ему ведь о работе правду рассказывать не положено. С годами, поди, и метки уже подрастерял, или вытерлись они, как мех на изгибе воротника – «где она, правда?» А гово-

речь с людьми надо, иначе не поймут, да и не в почете у нас молчуны за выпивкой. Вот так и выпестовал в себе талант балагура. Это, к слову сказать, его собственная, Антона Германовича версия. Я ни спорить не стал, ни глумиться. Думаете, не хотелось? Еще как!

Зять оказался на радость хорошим слушателем, впечатлительным, но немного, на вкус Антона Германовича, наивным. Возможно, «принятое на грудь» дало себя знать. Мог и подыграть старшему товарищу, благоразумно потешить тестево самолюбие. На охотах-рыбалках рассказчикам, даже таким многоопытным и внимательным, как Антон Германович, легко потрафить.

Они, что глухари на току, только себя и слышат. Опять же, *магия живого огня, обаяние звездной ночи...*

Написал эти слова и затосковал

Написал эти слова и затосковал не на шутку. Поначалу выделил про огонь и ночь цветом. Огонь – красным, ночь – синим. «Пошло», – решил и расцветку убрал. Потом употребил программу подчеркивания и прикинул, в итоге, что забавы с цветом все же были уместнее. В конце концов, разобрался с подчеркиванием и поменял шрифт. «Ни о чем.», – определился. Так все и оставил.

Когда же в последний раз мне доводилось наблюдать звездопад? «Или звездопады не наблюдают, а проживают?» – навязался сентиментальный вопрос. Я плотно сомкнул веки, предварительно глянув на раковину – кран закрыт, на плиту – газ выключен, оперся локтями на стол и представил себе, как поздние августовские звезды-переростки выстреливают, словно мячики из под клюшек небесных гольфистов, прочерчивают по небу быстрые, едва различимые следы и исчезают в непроглядной ночной глухомани. Невероятно быстрые. Тут не то что сформулировать желание не успеваю – не успеваю даже подумать, что надо бы загадать. Не – что именно, а вообще. Настоящее-то желание – оно огромно! На него никакого звездопада не хватит. Даже если скороговоркой произносить, мысленной скороговоркой. И на исполнение – не одна жизнь уйдет. Тогда как проверишь – исполнилось ли? Где, спрашивается, взять в таком случае еще пару-тройку жизней? Можно, конечно, их под звездами и выпрашивать. Неплохая идея. Но вдруг выйдет поверить, что вместо истрепанной, до дыр в желудке заношенной нынешней жизни, однажды выдадут мне новенькую, неиспорченную, или сразу пару-тройку, как заказывал, чтобы на доставку меньше потратиться. Перестану тем что есть дорожить – вот что будет. По крайней мере не буду усерден как раньше. По-людски это, очень по-человечески. И Зарабек уже примется прогревать двигатель своей «Газели», по иронии судьбы запаркованной на Большой Садовой, в двух шагах от булгаковской «нехорошей квартиры».

Один знакомый как-то посоветовал мне, как нужно пользоваться звездопадом: «Надо быстро-быстро подумать: «Дай хоть что-нибудь!» Главное, убедительно подумать, с нажимом». Однажды «нажал» правильно – ему повышение по службе вышло. В другой раз – машину разбили в хлам, а у него только три ребра сломаны, челюсть, обе ноги и рука. «Ну и по мелочи там. Разное.» – добавил счастливец. Я было пошутить собрался над его оптимизмом, но вовремя спохватился: «А ведь прав, чудила. То-то и оно, что по мелочи.»

Сижу себе, упираясь локтями в столешницу, в то же самое время будто бы валяюсь, приминая спиной траву, запах чувствую, навзничь поверженный таинством черной ночи. Еще удар неземной клюшкой, звезда падает, мой звездный миг, желание снова в полете. «Дай.» – все, что успеваю подумать. Однако, с нажимом. Хоть что-то. Это я так себя утешаю. Притаился, с духом собрался, жду – как еще раз задумает испытать меня Тот, в Чьем существовании я то сомневаюсь, то нет. Как не быть ему, если все на свете возможно (так нас учили), а он и есть свет (так мы выучились). Мне кажется, Его совершенно не заботит моя неуверенность. «Твои трудности» – читаю на небосклоне.

– Не отвлекайся. Ну?! – провоцирую вслух, не решаясь второй раз экспериментировать с «Дай.»

Может Он и не понял, что это я, хотя нет. И все же, «даст» кому-нибудь не тому, с Него станется, а там, возможно, меньше всего ждут таких подачек. Каких таких? В этом-то все и дело. Мне неведомые грехи без надобности. Благодеяния, к слову сказать, тоже.

«Разве что подсуется и мелочь какую выпросить?»

Осколок света, будто по заказу, отваливается от черноты. Наверное, пнул кто-то, симпатизирующий мне, с другой стороны.

– Курить хочю! – восклицаю вовремя, да так громко, что если Самому будет лень по такому пустяку напрягаться, наверняка догадается озадачить соседей.

Ему, однако, не лень. Сигарета находится сама собой, прямо под рукой, мне нет никакой нужды смотреть на стол, я продолжаю игру с закрытыми глазами. Зажигалка там же, на обычном месте. Должна быть. Левую руку чуть вперед. «Вот она, родимая!» В голове по-прежнему пустота. В глазах, веками отгородивших меня от забот, – звездное небо. Большую часть пространства тела оккупировал согревающий терпкий дым.

«Доволен?» – колышется неведомо как появившийся неустойчивый дымный каракуль на небосклоне.

«Хорошая сигарета.» – оцениваю.

Жду продолжения. Его нет.

– Курю, однако! – заносчиво отмечаю вслух. Затягиваюсь напоследок, свободной рукой локализирую пепельницу с алым росчерком по дну «Не щади! Приму. Работа такая.». Сам придумал, сам и исполнил. Лаком для ногтей. Забавно перевоплотиться в пепельницу. Думал, быстро сойдет, а уже год как держится. Хозяйка ногтей испарилась куда-то, но, благодаря стойкому лаку, я имя ее, в отличие от всех прочих, запомнил. Лена? Лена. Какая еще, к черту, Лена. Наташа?

В этот миг еще одна звезда пролетает.

«Мать твою.» – успеваю подумать. Столь же быстро соображаю, насколько это кощунственно и неуместно. «Теперь точно аукнется, не увернешься! – ехидничаю на свой счет, но отчего-то невесело. – Молись, чтобы это был искусственный спутник. И не наш, Желательно также не тот, что за ДжиПиЭс в ответе, я без навигатора как слепой в улье – больно и выхода нет».

– Патриот хренов, – ворчу, хотя следовало бы себя похвалить даже если патриотизм вышел слегка «ограниченным».

Откуда-то снаружи, из тьмы, параллельно моим мыслям – снизу вверх – свист, грохот, уши закладывает. Глаза сами распахиваются. За окном свет вгрызается в небо, рвет его на части, но раны срастаются тут же, затягиваются. Во дворе что-то празднуют, бурно балуются китайскими петардами. Видно, что китайские – косо летают. Наблюдаю в окно, как два юнца пытаются «по-пионерски» загасить не взлетевшую ракету, не кондицию то бишь. Та злобно егозит по асфальту, увертываясь от прицельных молодецких струй. Вспомнился давний-давнишний стройотряд – и как мочился ночью на непотушенный бычок в астраханской степи, испытывая сразу пять чувств одновременно:

– страх перед степным пожаром;

– облегчение;

– неприязнь к сладкой наливке «Золотая осень»;

– неприязнь к сладкой наливке «Золотая осень» на фоне ненависти к человеку, приволакшему целый ящик этой отравы;

– чувство убийственной разбалансированности.

Последнее привело к тому, что я обоссал свои кеды. И не кеды тоже. Пришлось побродить немного, чтобы обсохнуть хотя бы поверхностно. Позже вернулся, ориентируясь на фонарь, в гигантскую, армейского образца, палатку, определенно решив свалить оставшиеся погрешности во внешнем виде на прохудившийся рукомойник. Но меня никто ни о чем не спросил. Все спали вповалку. Видимо, пока я прогуливался, по ходу умудрился прикорнуть где-то на пару часов. И никто не бросился меня искать! Я тогда на всех спящих ну очень сильно обиделся. «А еще верными товарищами называются. Мастера прикидываться. Суки.» Весь последующий день я не мог избавиться от подозрений, что сквозь сон отряд слышал, как я нелестно выражал досаду и пенял коллективу, наплевавшему на случайно отколовшуюся судьбу. И также слышал не выветрившийся запах мочи. Тогда я придумал выходить в степь по нужде исключительно в трусах и босиком, или в чужой обуви, если рядом кто раньше меня уснет.

А С ЧЕГО БЫЛО ЗЯТЮ ЗАИСКИВАТЬ?

А с чего было зятю заискивать? С чего, в самом деле? Чем уж он так зависел от тестя, чтобы подыгрывать ему? Вежливый, наверное. Зарабатывал парень по тем временам отлично, жили они с Нюшей отдельно от всех, Антон Германович им опекой не докучал и Машу, если чуток «придушивала» «детешек» в материнских объятиях – вразумлял словом мудрым, хотя Маша называла этот воспитательный акт «одергиванием». В душу Антон Германович никогда по своей воле, без приказа, не лез. О! Может, поэтому и не прижился к новым-то руководителям?

– Ох как же эти, нынешние, любят, – ворчал недавно, – чтобы впереди кто-нибудь бегал, суетился, тропки угадывал, а как не ту угадаешь – спишут. Нашли щенка. Тропки-то все меченые – к банкам, нефти, как модно говорить, типа тоже не чужд. К банкам.

В ту поездку первый муж кирсановской старшенькой рассказал Антону Германовичу про собеседование в банке, куда собирался устраивался на работу. Над собой насмеялся. Редкие зятья перед отцами своих благоверных так умеют, чаще надувают для важности щеки, да лбы морщат.

– Я там, Антон Германович, прогулялся по коридору, рано приехал, почитал именные таблички на дверях, потом – очередь подошла – сел на краешек стула, робкий такой, взгляд доверчивый, нежный. Ладонки потные на коленях. Внимаю то ли Бройтману, то ли Райтману так, что шея как у гуся – вытянулась. И тут до меня доходит, наконец, что хрен мне с маслом, а не банковская карьера. К тому же обрезанный. Ну, хрен, в смысле, обрезанный. Ага. Какой из Иванова банкир?! И ведь взяли! Вот умора.

«Молодцы, – похвалил про себя банкиров Антон Германович. – Хорошо, что о многом наперед думают. Придет время, и ох как сгодятся им свои ивановы в банках, когда от греха съехать в дали туманные жребий выпадет. Не дай бог, конечно.» Чуть сфальшивил напоследок. И от души поздравил родственника:

– Ну давай, банкир, по половинке. Еще ведь и не приступил. Потом отдельно отметим. Думаю, здесь же.

А спустя месяц дочка случайно выяснила, что муж не только с тестем, и не только на Валдае съезжает время от времени, есть места и поближе, буквально в соседнем доме. На лени парень засыпался. Спросил бы совета у ветерана, уж не обидел бы Антон Германович, подсказал, как правильнее все обустроить. С другой стороны, мог бы и пристрелить за любимую-то дочь. Да нет, не мог. Однако, и то правда: зятю об этом откуда знать?

Антон Германович видел случайно его новую девочку – симпатичная, милая, видно, что не «на разрыв» живет, не то, что их с Машей старшая старшая: «Всего и сразу!» Нет, одного восклицательного знака в случае Нюши мало, минимум три подавай! Порадовался, короче, за парня, запал ему в душу банкир Иванов, надежда бройтманов-райтманов. Но и про свою: «Вот же дура!» не думал – просто разные они, не срослось. Или не приросли друг к другу? Как правильно? Так ведь уже и не важно. Зато с нынешним у Нюши, по всему выходит, порядок.

«Телок», – думает о нем Антон Германович совсем как-то не по-родственному, не по-отцовски, так и не отец, имеет полное право. Сомневаюсь, чтобы с пониманием отнесся, пусть и «новенький» зять во все тяжкие. Сомнительное удовольствие – встречать очередных подруг своих бывших зятьев и радоваться за них, когда дома роднучка ревет в три ручья и сладостями стрессы снимает. И на календаре у нее весь год несменяемый месяц Брошень. Однако же думает Антон Германович о «новеньком» упрямо и несмотря ни на что: «Телок. Телок и Промокашка».

Снисхождение – это приз для любимчиков.

Нет, кто бы спорил, про дачу нынешний зять высказался неплохо, но этого мало, чтобы расположить к себе тестя, да еще такого непростого, как Антон Германович, «с прибабахом», как отзывается о нем в таких случаях Маша Кирсанова. Ко всему прочему, Антон Германович не смог вспомнить, у кого зять спер афоризм про дачу, но убедил себя, что рано или поздно

вспомнит. Мысли не допустил, что тот сам сочинил такое. Трудности у него с доверием к творческой интеллигенции из среды профессиональных строителей. По части стырить что, приписать – это сколько угодно, а насчет чувства юмора. Короче, лишил он строителей права на это чувство. Напрочь лишил, рубака. Это уж на его совести. Лично я другого на сей счет мнения. Мне как-то давно один прораб жилье ремонтировал. Фамилия у него была знатная – Пржевальский. Помню, штукатур посмеялся:

– Как лошадь.

– Это лошади человек свое имя дал, – устыдил его Пржевальский. Ясно было, что привычны ему такие насмешки. – А у тебя, Хорьков, с этим как? Или ты Харьков, как город?

И еще. Антон Германович Кирсанов категорически нетерпим к мужчинам с мелкими кучеряшками, есть у него такая особенность. Иногда природа непривычно усердна, такие завитки крутит – сущее, скорее всего, наказание столько над одной головой трудиться. Вопрос: кто сумел наказать природу? Даже начинать думать не буду.

Кучерявые, или как Антон Германович говорит «завитые мелким бесом», все они напоминают ему пуделей, одержимых припасть к ноге с собачьим паскудством. С молодости их не любит. У жены одного из первых его начальников был такой беленький «оленок». Чем уж так его сапог Кирсановский подманил? Все два года пес изменял офицерскому хрому на ногах Антона Кирсанова только с ножкой хозяйского кресла. Пару раз Антон клялся себе пришибить заразу, но вся его тогдашняя жизнь на чужих глазах протекала, уединиться с животным не удавалось. Командирская, опять же, собака.

«Может, как раз этим самым зятек дочери и пришелся? Кудряшками- кучеряшками, и вообще.» – морщась, задавался Антон Германович вопросом. Отвечать утвердительно на него не хотелось. Не ханжа, но ведь дочь все-таки. Родная. Он и не стал.

«Правильно, что не поехал с зятем, – наконец заключил Антон Германович, не подозревая, что я уже все сказал и рассказал за него по этому поводу. – Только хуже бы вышло. На корню бы вечер сгубил».

– Хуже всех повезло бы, – процитировал он Машу вполголоса, вроде и неслышно для посторонних, но одна женщина, на два шага опережавшая Кирсанова, оглянулась:

– Это вы мне?

– Нет. Сам с собой. Простите великодушно. «Надо же, какое приятное лицо.»

«А жаль.»

«А мне как.»

Но с улыбкой он припоздал, улыбнулся уже в спину. Вышло, что самому себе.

Краем уха Антон Германович цепляет обрывок чужого бахвальства:

– Я ему, козлу, говорю: какое тут, на хер, кило? Взвесь, говорю, козел!

Взвесь

«Взвесь.» – повторяет он про себя, подбрасывая словечко на языке, пожевывая от удовольствия губу. Верхнюю, нижнюю. – какая подвернется.

Со стороны кажется – силится мужик удержаться от смеха, видимо, вспомнил что невероятно забавное. И впрямь вспомнил:

«Как в школе на лабораторных по химии. Такое давно забытое и, вот тебе на, так к месту.»

Хорошо различимы неясные вибрации

Хорошо различимы неясные вибрации. Они расходятся от стен Мавзолея, складываясь где-то вдалеке в простые слова:

«Я ВАМ ОБЕЩАЛ, ЧТО МЫ ПОБЕДИМ.»

Своевольное эхо, возвращаясь непонятно откуда – то ли со стороны реки, то ли Манежной – сообщает им вопросительную интонацию.

«МЫ ПОБЕДИЛИ!» – шорохом накатывает вторая волна.

«. ИЛИ. ИЛИ.» – вновь безнаказанно хулиганит эхо.

Того, кто задумал все это больше века тому назад, и добро бы только задумал, так нет же, затеял претворить в жизнь, и претворял с переменным успехом, и претворил, несмотря ни на что, выходки распоясавшегося эха не беспокоят. «Пусть себе тешится», – думает.

Его пересохшая мысль проскальзывает с шорохом будто сквозь узкую талию стеклянных часов. (Ему самому, я уверен, этот образ лег бы на душу. Он и сам много лет всего лишь сосуд, в котором когда-то жил человек.)

«Эхо – это лишь отражение», – проскальзывает ручейком, падает еще с десятков мелких песчинок. Совершеннейшая для них случайность, оттого и стремятся они подчеркнуть свою значимость.

«Чего отражение?» – возникает в ответ беспочвенное волнение.

Он нервен. Или правильнее – нервичен? Ему все равно, привык: все, что ни говорит – правильно. Вот если о нем, то все по-другому.

«Нервен? Нервичен? Раздражен. Так чего отражение? Ну, чего-то там. Неважно чего. Отражение – и все. Эхо, короче. Хватит дурачиться.» Хочет добавить: «. товарищи.», но подмечает двусмысленность. Его картавость сохраняется даже в мыслях, а раздражение, не в пример картавости, быстро истаивает и исчезает вовсе.

Нынче для недовольства нет повода. Нынче он в полной мере удовлетворен происходящим за стенами, с которыми породнился. Теперь уж его точно не тронут. Лет эдак с дюжину, а как повезет, то, возможно, и дольше. Насчет везения – это он, разумеется, не всерьез, заигрывает сам с собою, от скуки, как во внутреннем монологе про эхо и отражение. Знает про себя лучше других: никогда ничего не оставит на волю случая, на века все рассчитывает. Жизнью научен. Ну, а в смерти все уроки, полученные при жизни, ох как полезны! Не передать.

Не хочет, старый, съезжать

Не хочет, старый, съезжать с привычного места. Как я его понимаю! И Антон Германович тоже бы понял, сам добрую половину жизни мотался с места на место, из одного гарнизона в другой.

«Умеют же некоторые устраиваться», – лезет в голову неуместная мысль, совсем даже не о Кирсанове.

Ко всему прочему, постоялец гробницы концерт Пола Маккартни вживую прослушал, а я не попал, даже внука облагодетельствовать не сумел. Отстойный, одним словом, дед, хотя мне внук такое не скажет. Но ведь думает, обормот, это точно!

Все-таки, может, не очень «вживую»?

Неужели такой пустяк способен меня утешить? А пожалуй, что и так.

Я всего лишь одна из судорог уходящего мира

«Я всего лишь одна из судорог уходящего мира», – бубню под нос придуманное специально для дневника, который уже третий год обещаю себе завести. Наблюдаю при этом издали за случайно замеченной и неслучайно узнанной плечистой фигурой еще одной «судороги», с которой встречаться сейчас и здесь, на Красной площади, под гул осадивших Манежную победителей всей страны я не намерен. Как-то быстро и само по себе вызрело неожиданное решение. Быстрее, чем прыщ на носу, если кто влюбится. И вообще, если вдуматься, может, по работе тут человек. В принципе, никаких весомых причин для такой осмотрительности нет и в помине, невесомых тоже, но мне, замороженному, непростому, кажется, что нам обоим встретиться именно в этот час и на этом месте будет неловко.

«Отчего?» – строго спрашиваю себя.

«Да неловко и все!» – отмахиваюсь.

«А все-таки?» – не отлипаю.

«Чего сам к себе пристал? Делать больше нечего? Пес с ним, ни от чего, какая разница, пусть хоть блажь.»

Такая же блажь, как фраза про судорогу. Мне нравится думать так о своем поколении. Но при этом, если честно признаться, совершенно не улавливаю – что во всем этом вообще может нравиться? Извращение какое-то. Но клевое. Только подумал так – и сразу же жаль стало метафоры – «Делиться еще.» Глянул мельком на спину Кирсанова и подумал, что он тоже не исключение, хоть и сосед. Решил, что впредь вообще воздержусь разбрасываться «глубокомысленной красотой» направо-налево. Вроде как глубокомысленной. Для себя придержать стану. Куркуль, одним словом. Вот был бы Антон Германович, скажем, седовласым лихим флотоводцем старой традиции и соответствующего облика – в эполетах, усах, орденах имперской чеканки, я, может быть, и расщедрился бы. Нет, ни черта подобного. К чему красивые слова, если и без того в избытке инструментарий для пленения барышень, особенно неискусшенных: золото на плечах, серебро под носом, бронза на лице от ветра, – пока еще не памятник, но уже можно прикинуть, как впечатляюще будет смотреться. И камня. Камень все как есть драгоценные, рассыпаны по груди в дорогих оправках. А если не для барышень? Тогда вообще не понимаю – зачем. Хотя, если в самом деле, про «судорогу», то странноватая выйдет самореклама. Однако кто их, прелестниц, знает. Может быть, кто и купится. На необычность метафоры.

Это, в самом деле, туман, или мне кажется?

Странный туман стелется подле стены

Странный туман стелется подле стены. Туманец. Почти не заметен, нужно присматриваться, но мне сдается – он пахнет? И еще кажется: где-то там, в глубине, глубоко-глубоко, кто-то курит кальян. Полулежа? Лежа? На чем там лежат? Эх, не хватает фантазии. И памяти, чтобы вспомнить больше четырех-пяти лиц из здешней обители. С именами проще, а вот с лицами напряженка. Вместо Брежнева, к примеру, перед глазами артист Шакуров, изображавший Леонида Ильича в телесериале, ну и так далее.

Других, кому в кальяне отказано, кипятят в смоле – тоже дымное дело, – как в растворе для снятия накипи. Не исключено, что они эта накипь и есть, были ею. Конечно, недоброе это дело – так о мертвых... Нехорошо. Каюсь. Опять же, накипь сняли, а мы все одно не блестим. Вполне, может статься, что и не накипь. Тогда и каяться не в чем. Хотя нет, подумал ведь. Виноват.

Дымки столь разного происхождения проникают из-под земли наружу, перемешиваются, превращаясь в полупрозрачную воздушную вату, и уже не разберешь, не отличишь в только что рожденном букете – где что и отчего. Чушь, конечно все это, выдумки мои крамольные, невежественные, небогоугодные. Свинство, короче. Однако в носу пощипывает, и та часть головы, которая отвечает за запахи, уже все для себя, да и для меня заодно, придумала. С чего-то, глупая, решила мне слегка потрафить, как всегда наспех, и подпортила впечатление – подмешала в аромат выдох «Шипром». Для узнаваемости, по-видимому. Чтобы крепко зацепило. Так и вышло. В соответствии с намерением. Зацепило сразу и намертво. В горле запершило, и я натужно и надолго закашлялся. Так происходило всегда, если в армии случалось хлебнуть за компанию с сослуживцами «Шипра». Прапорщик на мой кашель, будто Дерсу Узала к лежке зверя, выходил, охотник хренов. Может быть, и не стоит так приноживаться? Как? О зрении бы сказал: «зорко всматриваться», или «пристально.», но к нюху эти слова явно не подходят. Убогий он, нюх, какой-то. И кладовая памяти – тоже убогая, невместительная, метр на полтора, если слова крупным шрифтом набрать. Короче, туман, он и есть туман – земля холодная, воздух теплый, или наоборот. То есть, производное. И ничем не пахнет. Кипящей смолой точно не пахнет. Кипящую смолу я однозначно выдумал, потому что всех тех, кто нашел последний приют в стене, под стеной, дети при жизни любили! Как же можно любимцев детей в ад, в смолу?! Никак нельзя! А ведь мы – те самые дети и есть. И вообще никакой это не туман, а фимиам с Манежной на Красную площадь надуло. И на спуске Васильевском в этот час все на подъеме. Что за день?!

Бестолковый

Бестолковый день. Бестолковый и безнадежный. Что-то многовато таких у меня теперь стало. Когда был мальчишкой, называл такие «незабранными», дед научил. Я очень этим дедовым словом гордился и выдавал за свое. Во дворе ребятня безоговорочно верила в мою изобретательность по части слов, и не только слов, но никто ни единого разочка это слово – «незабранность» – за мной не повторил. Не запало. «Порожняк», – оценили бы сейчас. В самом деле, кто его, этот «незабранный» день, должен забирать, и куда? А может быть, сам я и должен был? Потому и «незабранный» он, что остался валяться протухать, приванивать – совершенно никчемный, неиспользованный ни мной самим, ни за пределами моей жизни? Хм-м. Тогда, при жизни деда, в малолетстве – таким вдумчивым я точно не был. Кстати, у Маши Кирсановой для таких дней свое слово припасено, я его помню: «Деньназавр». «Поспала, – говорила, – поела, телик посмотрела... Головка, – смеялась, – малю-ю-юсенькая, тельце большу-ущее...» Беременная была второй дочкой, Ксенией, вынашивала. Если бы не это, я бы тогда и увел ее из семьи Кирсановых. Или она меня из моей, несуществующей. По меньшей мере, попытался бы. Про нее не скажу. Пил тогда сильно, поэтому мало чего боялся. Хорошо, что до Антона волны не докатились. Я так и не знаю, в курсе он, догадывается ли о чем? Скорее всего, нет. С одной стороны, с чутьем у него, я так полагаю, все ладно, раз дослужился до генерала. С другой – не в полиции нравов служит, под другое чутье заточено. Сидел бы себе сейчас дома, телек смотрел, а он, вон, бродить отправился по местам былой славы. Или впрямь на службе? Вряд ли, не его, кажись, ведомство. Нормальный мужик, и дело, судя по погонам, знает, но какой-то не очень устроенный, что ли, среди устроившихся. Яснее не определю. Меня последнее время все больше тянет на неясности, хоть какой-то надежды хочется.

Часть вторая Шапочный разбор

Пеший строй парада

«Пеший строй парада замыкает Московское Высшее командное училище имени Верховного Совета РСФСР, – разносится из динамиков голос, убежденный в исторической важности происходящего. – Кремлевские курсанты, они с 1918-го года постоянные участники парадов. В нынешнем одна тысяча девятьсот восемьдесят девятом году училище...»

Антон усмехнулся вклинившейся в пафос происходящего несерьезной, пасквильной, можно сказать, аналогии: «Хору бостонских мальчиков исполняется семьдесят лет.» Совершенно недопустимое ерничание, мальчишество. Как минимум, с политической точки зрения. Прежде всего и исключительно с политической. Скосил глаза направо, потом налево – никто не смотрит.

«И чего, дурак, веселюсь? Это ведь к слезам.»

Суеверия достались ему от бабушки, так она умудрилась подгадить внуку гораздо на больший срок, чем был ей самой отпущен, но теперь Антон уже и в мыслях прекратил обзывать ее «жопой» и «старой каргой», думал: «Сам, неровен час, дедом стану. Что еще обо мне-то внуки думать станут?»

Стоит ли судьбу искушать?» В придачу к суевериям бабушка оставила на память так и в завещании крупным старушечьим почерком: «На добрую память» – очки, им же сломанные, для удобства. Будучи единой и неделимой, оправа серьезно затрудняла процесс выжигания на подоконниках всяческих непотребностей, а без них, как известно, взросление особей мужского пола по определению невозможно. Никому не охота слышать в свой адрес: «Здоровенный дылда вымахал, а так и не повзрослел, мозги, как у трехлетнего». Весь дом такими или похожими словами выражал свои переживания за Коляна из второго подъезда, у которого что-то с чем-то разошлось в голове и более не дружило. В то время Антону Кирсанову было уже восемь лет от роду, поэтому, даже застопорись у него развитие, он уже был бы умнее соседа, но все равно... К тому же выходило, что из за пяти лет разницы его бы меньше жалели. Словом, лучше было не рисковать и взрослеть, а без бабушкиных очков процесс оказывался под угрозой. Хотя я «взрослел» без увеличительного стекла, с обычным перочинным ножом. Теперь самому многое стало понятно.

Унаследованная оправа была склеена на переносице и, существенно сократившись в результате вмешательства, превратила очки в предмет скорее декоративный, в быту непригодный, годившийся разве что птице, да и то не каждой, а чтобы клюв был узким, а глаза наоборот – широко расставленными. На письмо, отправленное Антоном в детскую радиопередачу КОАПП (Комитет охраны авторских прав природы) с предложением одарить очками Ученую Птицу-секретарь, пришел ответ, в котором были и слова: «Спасибо тебе, добрый мальчик Антон.», но прежде всего – фотография птицы, подтверждающая опасения благотворителя – очки бы ей не подошли. Однако уже ради добрых слов благодарности стоило исполнить эту затею.

Узнав о такой необычно положительной инициативе, папа с мамой, не сговариваясь, простили отпрыска, умилились, сердешные, а в школе, не разобравшись, Антона вообще захватили до неприличия, словно больше всех макулатуры собрал. Антон в классе только ответное письмо показал и предусмотрительно счел за благо умолчать о начале истории. Бабушка един-

ственная несколько дней на Антона дулась, но не очень активно, наверное, помнила, что про клюв птицы она же первая и сказала.

Доброе чувство к радио Антон сохранил на всю жизнь, хотя, было время, умело маскировал симпатии, если речь шла о «Свободе» или «Голосе Америки». И что? Я думаю, он и сейчас не стал бы хвалиться своим отношением к «Эху Москвы». У него отлично развито чувство времени.

Место перелома на очках скрепляла теперь щедро намотанная голубая изоляционная лента, умудрявшаяся прилипнуть с обеих сторон ко всему, к чему прикасалась. Так что и по этой причине бабушка, если и прибегала к помощи изувеченной оптики, пользовалась очками как лорнетом, не подносила к лицу ближе, чем на ширину ладони. Изолента за долгую жизнь подвыцвела, но вот что удивительно – так и не потеряла легко узнаваемый специфический запах. Она пахла тем временем, когда все домашние инструменты, в придачу к ним куча болтиков, гаечек, шайб и шурупчиков, упрятанных в банку из-под халвы, хранились в фибровом чемоданчике «банного» размера. Стоило только щелкнуть замками, как из-под крышки вырывался на волю дух голубой изоленты. Он был совсем не таким, как у ее черной родственницы, которой мальчишки обматывали крюки и верх черенков хоккейных клюшек. Антон называл голубую «электрической», возможно, это было спонтанным проявлением толерантности, а черную так «черной» и называл, неполиткорректно.

В общем, Антон считал неверным привлечение «электрической» изоленты к ремонту «неэлектрических» очков. К сожалению, по легко угадываемым причинам, права голоса он был лишен. Но не тронь он очки, сложись по-другому, недосчитался бы нынче стольких воспоминаний! И наследство бабушкино сократилось бы до присказок и суеверий. А как сопроводить их напутствием «На добрую память»? Вот они, милые пустяки.

Кстати, я вполне допускаю, что очки по сей день служат Кирсанову, как оберег, сохраняя ему соколиное зрение. С давлением – напряженка, сахар в крови – торговать можно, а зрению хоть бы что. На мой взгляд, не бывает такого счастья без вмешательства тонкого мира.

Навряд ли Антон Кирсанов отчетливо различим

Навряд ли Антон Кирсанов отчетливо различим, если в принципе виден кому-то с переполненной людом площади. На мавзолее он во всех смыслах крайний. Стоит за источающими фундаментальность спинами, упакованными в неподъемный на вид драп однотипных пальто с каракулем на воротниках.

«И ведь держат, несут на себе этот неизменный, повсюду узнаваемый «партийный» крой, не гнутся, – притворно восхитился он, подавляя ухмылку. – И мысли такой, скорее всего, не допускают. Во всех смыслах – негибаемые».

Над воротниками легкое пыжиково-ондатровое шевеление. Это правильно: стоит ли выражать солидарность с трудящимися всем властным телом, колебаться с риском потерять равновесие, если достаточно головы? Что вообще может быть важнее голов членов Политбюро и кандидатов в эти самые члены? Кандидаты, разумеется, не так дороги родной стране, что, впрочем, отнюдь не означает – дешевле.

Наряду с головами колеблются руки, обычно правые, хотя левые идеологически были бы правильнее, органичнее как-то. Скажете ерунда? Качаются сухонькие и не очень ладошки, спрятанные в перчатки, из стороны в сторону, что твой метроном. По амплитуде движения натренированный глаз легко прикинет политический вес персонажа, если лица не разобрать.

Все эти мелочи, детали для Кирсанова, стоящего далеко за спинами главных действующих лиц, почти что неразличимы, но не надо родиться гением или провидцем, чтобы угадать сценарий происходящего, если из года в год смотришь парады и демонстрации по телевизору. И на этот раз все должно было быть именно так, как обычно, как раньше: посмотрели, поцоккали языками – «Мощь-то какая!» – и за праздничный стол, догонять тех, кто с предыдущего вечера начал. Однако позвали в Москву.

Громоздкие серые генеральские папахи смотрятся на фоне прочей меховой ряби, как вспенившиеся, мутные волны цунами. Будучи лет семи от роду Антоша Кирсанов в такой же отцовской – генеральской или еще полковничьей? – проделал дырки для глаз, носа, рта и блистал в дворовой инсценировке побоища на Чудском озере в образе рыцаря Ливонского ордена, проще – «пса-рыцаря». В кинофильме, если не путаю, этого «пса» выделяла железная ручонка на шлеме и худосочная, желчная рожа аскета.

Побоище на детской площадке

Побоище на детской площадке, как и было предопределено памятной и злорадной судьбой, получило продолжение дома. «Пес-рыцарь» потерпел второе за день сокрушительное поражение. На взгляд самого героя, второй акт был совершенно лишним. Произвол режиссера, проще говоря. И без него бы историческая достоверность не пострадала. Однако в тот день банковал не Антон.

К обретенному в битве фингалу под глазом добавился хаотичный узор на попе, такой же пурпурный, но еще и с незначительным переливом, если рассматривать при лампе дневного света. А воинственный клич дворовых ополченцев Святого благоверного князя Александра Невского: «Сдохни, собака!» накрепко соединился в сознании с мудрым советом матери:

– Даже в играх, сынок, важно правильно выбрать сторону.

Мать раздраженно прикладывала к его распухшей щеке лед, острая горячая боль сменялась тупой холодной, и Антон неожиданно понял, почему побоище называлось Ледовым. Он представил себе, сколько льда понадобилось бы на всех «псов-рыцарей», и что было бы, если бы Ледовое побоище состоялось летом. Очень хотелось прохлады и в области попы. Там бесчинствовали августовский полдень в пустыне и полчища басмачей, колотивших кривыми и острыми саблями. Однако подозрение, что лимит среднесуточной родительской снисходительности он вычерпал минимум на полгода вперед, склоняло Антона к скромности и сдержанности желаний. По правде сказать, физиономия его беспокоила куда больше, в конце концов, именно с ней ему предстояло утром идти в первый класс. Именно так он сформулировал для себя эту мысль.

Первое сентября Антон пропустил. От пережитых за день потрясений и вообще расстройств к ночи у него подскочила температура, и на три дня, остававшихся до выходных, доктор предписал ему домашний режим. Доктор был вроде бы и не старым, но каким-то очень уставшим. На его накрахмаленном белом халате нельзя было не заметить педантично заглаженную дыру вместо давно ускользнувшей пуговицы. Он придирчиво изучил лицо пациента, осмотрел отметины на пятой точке, проведя сухой ладонью по вспухшим и саднившим рубцам, и надолго задержал неодобрительный, снизу вверх, взгляд на стоявших возле постели страдальца родителях и бабуле. Но за рамки врачебных вопросов не вышел, не стал рисковать. Отец – высокий, широкоплечий, весь, до каждой морщинки, обветренный, с жестким, прицельным взглядом серо-голубых глаз, слегка наклонившийся влево – осколок прилетел в ногу за три дня до конца войны. И без формы, в домашнем спортивном костюме и тапочках, он выглядел, сейчас бы сказали – brutally. Позже его даже в школу будут не «вызывать», а «приглашать». Так и станут писать в Антошкином дневнике «Приглашаем Вас.» неустроенные в личном плане училки, будто не на выволочку зовут, а на танцульки. Станут заведомо млеть от восторга и переглядываться, глуповато хихикая:

– Завтра придет...

Старший Кирсанов так ничего и не поймет, или не захочет понять. По крайней мере, сомнительные успехи его сына в учебе не дают исследователям материала для иных объяснений.

Со скрещенными на груди руками Герман Антонович Кирсанов хмуро и молча наблюдал за происходящим, а встретившись глазами с доктором, отрицательно покачал головой. Медленно, убедительно, один раз, туда-сюда. И тот, битый жизнью дальтоник, язвенник, отец-одиночка, зарекшийся кому-либо доверять в этом мире, как-то сразу взял и поверил. Больше того – оправдал на скорую руку и подумал, что сам тоже не прочь и что давно пора. По глазам было видно. Он заспешил, предвкушая возвращение домой, где царствовал подрастающий разгильдяй.

Великая это наука – уметь правильно, в нужный момент покачать головой. Я всегда считал, что именно этому надо учить в школах и институтах, тем более, что всю последующую жизнь примерно этим и занимаемся, и чаще всего неумело. Еще бы немецкий оставил и физкультуру, мне пригодились.

Мама Антоши, Светлана Васильевна, в отличие от отца, по-женски была готова вступить за подвергнушуюся молчаливому порицанию честь семьи и макнуть эскулапа в подвизающее болотце семейных проблем, посвятить доктора в историю происхождения синяка, предъявить изуродованную папаху. Что до следов от ремня, то они были делом житейским и если вызывали чувства у людей нелицемерных и не ханжей, то по большей части – зависти: «Вот есть же мужики со стержнем! А у меня, слабака, кишка тонка, рука, видите ли, не поднимается на родное дитя. Вот и растет обалдуй, без тормозов».

Кто знает, скольких отцов прилив нечаянных эмоций подтолкнул, в конечном итоге, к первым, пока неумелым расправам над незадачливыми и разбитными потомками. Потом они втягивались и входили во вкус, еще как входили! По своей заднице знаю. Мой родитель как раз из таких был. В седьмом вдруг ка-ак взялся навестывать упущенное. Столько советов прописал ременной тайнописью – почти все помню, а ценных среди них – два-три!

Все-таки, зависть, пусть даже к чужой решительности, чувство несправедное и неправильное. Если бы мой отец был тем самым доктором, я, чем угодно клянусь, отыскал бы Антона Кирсанова и втихаря придушил. Без малейших сомнений и последующих мук совести. Что вообще такое эти муки совести?! Можно подумать, совесть уже родилась с артритом, панкреатитом и другими мучительными «атитами». То есть ущербной? Пусть ее. Я тут каким боком? У меня своей хроники только, что поделиться могу: пьянство, вранье, лень! Только мук совести не хватает.

Светлана Васильевна слегка подалась вперед, на ее лице сложилось виноватое выражение, сдвинулись в нужном направлении брови, уголки губ. Строго говоря, выражение не очень соответствовало обстановке, зато было вполне привычно: так она весь последний год проходила на вынужденные свидания с Антошкиной воспитательницей в детском саду. Однако в последний момент мать Антона говорить передумала. Решила, наверное, что оправдываться ни к чему, не перед кем, или поздно. Или Герман Антонович глянул в ее сторону строго – сын-бедолага этот момент не отследил, слезу из себя выдавливал, а она, слеза, вдруг как пошла ломиться наружу без всякого понукания! А услышал отцовское «Распустил нюни.» и вовсе от обиды контроль над собой потерял. Хорошо еще, медицине он был уже не нужен, а потому натянул одеяло на голову, под ним и хлюпал, пока провожали доктора.

Когда визитер с потертым, потрескавшимся саквояжем – с таким Антон постеснялся бы показаться на людях – покинул квартиру Кирсановых, отец сказал, что из-за таких хлюпиков и неумех, как этот лекарь, скоро некому будет в армии служить, а мама обозвала его «бесчувственным чурбаном» и «сапогом». Потом сказала, что отец сам во всем виноват, и никто, кроме него, потому как:

- Нечего где попало свои дурацкие шапки разбрасывать!
- Папаха, – педантично поправил ее отец, а бабуля закивала китайским болванчиком:
- Папаха, папаха.

На новый скандал сил не было ни у кого, это вышли остатки пара. Любая семья, собой дорожащая, умеет его стравить и при этом не перепутать долгожданный момент с отмашкой начала нового круга. Пар кирсановский вышел легко, без напряжения, даже на приличный свист не хватило бы.

Засыпал Антон под действием гадкой вонючей микстуры, остатки которой заползли под язык, да там и затаились и теперь подло пощипывали, хотя и не так подло и сильно как мазь на попе. Даже когда доктор втирал ее, не было так больно. «Хорошо, что не мазь под языком. Хорошо, что она далеко от языка», – успокоил себя Антон. Лежать на животе, вывернув голову

так, чтобы не касаться подушки раздувшейся левой щекой, было еще одним довольно невыносимым неудобством, но неожиданно возвращенная в дом, в мир, в жизнь справедливость превращала все, что было и все, что происходило сейчас, в пустяшные мелочи.

– Не фиг где ни попадя шапки разбрасывать, даже если это папах! – прошептал он в подушку.

Вот, оказывается в чем было дело.

Признаюсь, я бы и сам не нашел лучшего объяснения. «Отмазка» и в то же время «предьява», – как говорят сейчас. Круто.

К папахе судьба милосердия не явила

К папахе судьба милосердия не явила. Ее, изуродованную, перекроили на «кубанку» для мамы, несмотря на все протесты Светланы Васильевны. Мама убеждала отца, что будет в этой шляпе похожа на ожившую «четвертинку». Ее расчет был понятен: малые формы в доме Кирсановых, равно как и в окружении этой семьи, никогда не приветствовались. Отец Антона полагал их пустым лицемерием: «Все равно второй раз бежать».

Для неискушенного Антоши Кирсанова слово «четвертинка» было внове. Он думал о ней, как о птичке-невеличке, четвертушке от голубя, то есть о синичке, к примеру, или о снегире, если зима голодная и снегирь худенький. Мама была небольшого росточка, полненькая, но в меру, по тогдашним стандартам упитанности, и совершенно не походила на птицу. По крайней мере, ни на одну из известных Антону. Даже когда мама надевала очки и выкладывала вокруг головы косу узловатым колбасным колечком, им из Киева присылали такие, остро пахнувшие чесноком. – все равно походила не на птицу, а на человека с колбасным кольцом на голове. Наверное, поэтому Кирсанов старший и остался в вопросе будущего папахи непреклонен – «четвертинкой» его мама не убедила.

Папаха отправилась к скорняку и вернулась миниатюрной «таблеткой», потеряв всю былую значимость. К ней в придачу отдали сверток с обрезками, по-видимому для того, рассудил Антон, чтобы моли морочить голову, шельмовать ее, подлюю, отвлекать от основного объекта. Такую предусмотрительность младший Кирсанов не оценил. По его глубокому убеждению, на мелочевку, в какую превратилась былая папаха, моль и без ухищрений не позарилась бы. Не должна была, если испытывала хоть толику уважения к самой себе. Сам он, родись молью, даже не глянул бы в сторону этой нынешней шапчонки. Уж лучше отварной куриный пупок съесть. «Ненави-ижу.» – вспомнился вкус пупка.

Время от времени мама поддавалась на уговоры отца, уступала офицерскому натиску и выходила в «кубанке» в люди, но по большей части бывшая папаха, словно не в силах забыть о своем героическом прошлом, стыдливо хоронилась в шкафу. Она оживала лишь в те дни, когда Антон, оставаясь один на хозяйстве, играл в войну, партизанил, громя трусливых и глупых фашистов. Один только вид залихватски наползавшей на уши шапки с черным бархатным верхом и красным лоскутом поперек каракуля – лоскут крепился булавками – обращал полчища захватчиков вспять. Иногда, правда, исключительно для сценарного разнообразия, все же случались ранения и даже гибель отчаянного парня, что, впрочем, никоим образом не сказывалось на итоге сражения. Антона оплакивали боевые товарищи, вообще все товарищи, школьные тоже, скорбели родители, соседи, учителя. Они говорили слова, какие в кино говорят над павшим героем. В общем, погибать он любил, но не злоупотреблял сюжетом своей кончины, что-то мешало, препятствовало. Возможно, первые признаки отравления бабушкиными суевериями проявились уже тогда. При этом интуитивная осторожность вредила драматизму моноспектакля, да и динамика действия заметно страдала, потому что чувствовать победителя у Антона получалось существенно хуже, чем хоронить и страдать от лица народа. С чувствованием вроде бы все нормально и не натянуто выходило, но без надрыва, а потому как-то сомнительно, что ли, по части искренности.

Взрослый Антон всем сердцем, до обожания полюбил грузин за отсутствие в их тостах ощутимой фальши, хотя природная недоверчивость и подскажет ему, что не все так однозначно и просто, и притаившуюся неискренность умело скрывают ласкающий ухо акцент вкупе с бархатной мягкостью вин, пьянящих так нежно и неторопливо, что когда захмелел, то уже не помнишь, зачем пришел. «С водочкой так не выходит, – будет думать он о соотечественниках. – С водочкой все по другому: вмазал – и после второго стакана душа уже вся снаружи, вынута, вывернута, будто стелька из промокшего башмака». Самому ему такие конфузы будут

неведомы, но понаблюдает всласть. Не раз и не два. Антон определится со своей «пограничной дозой», внушительной даже для выпивох с солидным стажем, и крайне редко, с большой неохотой и только по служебной необходимости, позволит себе приближаться к полосатым столбам. А уж чтобы «на ту сторону». Боже сохрани! Не чужим умом дошел до такой мудрости, своего ума, впрочем, тоже не хватило, только опыт, все личный опыт.

А пока он, будучи первоклашкой, играл в войнушку в маминой «таблетке», выигрывал одну за другой жестокие, кровавые битвы и время от времени погибал смертью храбрых. Погибал по плану, не когда придет в голову, под настроение, а исключительно по логичным поводам – двойкам и неприятным записям в дневнике, однообразно и тупо – ну не доставало учителям полета фантазии! – сообщавшим об опозданиях или срывах уроков. Вот так: «Сорвал урок русского языка». Без прилюдий, прямо в лоб. Чудовищно. Непростительная приземленность. Притом, что сорван урок был изящно, с выдумкой. Сперва с парты был запущен бумажный немецкий самолет, а потом обстрелян бумажными шариками через красную трубочку. Продуманное до деталей, отлично спланированное, увязанное по времени последовательное действие. И это в первом классе! Или вот еще пример – учительница пения. Второй класс. Ни при каких условиях эта дама в летах не желала признать, что в природе встречаются дети, у которых нет слуха, которым медведь по ушам прошелся. Таково было ее педагогическое кредо. Нелюбезные для посторонних ушей звуки, издаваемые Кирсановым ко всему прочему не попадая, то есть вне ритма, воспринимались учительницей как нежелание заниматься, как «настоящее хулиганство!» При этом, будучи одаренной по части слуха и голоса, учительница была подвержена нервным срывам. Хотя Антон и вынужден был отметить, что орала она тише, чем кошка, вытасченная из пианино, и музыкальнее, чем он исполнял «Марш юных пионеров».

Между прочим, причины досадной неудачи с исполнением марша коренились в самодурстве Антонова окружения: репетировать дома ему строго настрого запретили, а дворовая компания пригрозила высечь крапивой, если он заголосит еще хоть один раз. Так и получилось, что носил-носил в себе парень текст и музыку, слились они, забродили, ну рвануло на уроке. Будто две нейтральные жидкости в бинарном заряде соединились. И эффект, кстати, получился схожим. Учительница за эти вопли оставила на перемене пианино полировать, тогда и посетила Антона идея с кошкой.

Слава богу, учительница, в отличие от обезумевшего животного, не царапалась, не металась по классу, цветы с подоконника не повалила, а все равно какая-то она была не в себе. Поменяйся они местами, Антон так бы в дневник ей и написал: «ненормальная».

Учебный процесс убивал героя

Учебный процесс убивал героя. Обстоятельства складывались таким образом, что он все чаще погибал в бою и все более горячие слезы проливали боевые товарищи над его остывающим телом. И суеверия, кстати сказать, отпустили бойца, видимо, опять самой бабке понадобились – во дворе кто-то отчаянный прикормил черную кошку, и теперь она зловредно поджидала старую Кирсанову в самом узком месте двора, чтобы наверняка перебежать дорогу. Антон просто так, забавы ради, поведал бабуле, что доподлинно рассмотрел на пузе «небогоугодной» живности белое пятно, превращавшее кошку из вестника неудач в тварь вполне себе безобидную. Старушка октябренку поверила, на следующий день не сплюнула и крестом себя не осенила, как полагается, переступая через кошачий след. Сделав пару дюжин шагов, она поскользнулась, неудачно грохнулась и подвернула правую ногу так сильно, что пришлось вправлять и накладывать тугую повязку. Две недели она с Антоном не разговаривала. Сидела на кухне сычом, водрузив раздавшуюся вширь ногу на табуретку, и ворчала неразборчивое, но наверняка недоброе. Пришлось маме, Светлане Васильевне Кирсановой, использовать накопленные отгулы и еще добирать днями «за свой счет». Мысль о том, что Антон вдруг сам примется стирать, готовить и убирать, ее ужасала. Его тоже, даже больше.

На улицу «кубанку» Антон ни разу не выносил. Хотя. Один раз все-таки было, но ведь и искушение такое. Прямо фаустовское! Поди его преодолей. Важно, что все обошлось без потерь – имущественных и в живой силе, если рискнуть отнести к ней кожные покровы филейных частей тела. Казаки-разбойники в «кубанке» игрались совсем по-другому, буквально по-настоящему, и, что важно, впервые у Антона был неоспоримый повод оказаться на «правильной стороне», в числе казаков.

Надо признать обидное для старушки Кирсановой: болезненные прививки офицерским ремнем не больно-то укрепили иммунитет Антона к разнообразным соблазнам. Впрочем, это мог быть и банальный «статистический» сбой: болеют же некоторые ветрянкой и по два, даже по три раза! Так или иначе, но вполне можно было свести наказания к диетической дозе – раз в два месяц, или даже в четверть. Всем от этого могло бы лишь полегчать. В разной, понятное дело, степени: уж больно тяжелой была отцовская рука.

Иногда Антон мечтал стать безотцовщиной

Иногда Антон мечтал стать безотцовщиной, как некоторые мальчишки из школы, только понарошку, на денек – другой, просто попробовать, как это – жить без отца? Отца нет, а удочки, мотоцикл, фотоаппарат, портсигар, ружье охотничье и ремень с португеей остались.

«А ремень зачем?» – удивлялся он собственным мыслям.

«Чтобы не наглел, чтобы помнил», – отвечал сам себе строго и. восхитительно самокритично. Будь в нем способность себе умиляться, уронил бы слезу, а возможно, и две. Но не тут-то было, вместо этого вспомнил про бабушку.

Если подумать, опасность перехода семейных вожжей в руки охочей до физических наказаний бабули с лихвой перекрывала все возможные преимущества, которые, под таким углом зрения и при ближайшем рассмотрении, представлялись уже сомнительными. По меньшей мере, не такими уж значительными и не очень явными. Мотоциклом Антон так и так управлял, и неплохо справлялся, правда, исключительно когда тот стоял возле дома. Распластывался на бензобаке так, что пробка в живот впивалась, и разбрасывал руки в орлином размахе, иначе до рукояток не доставал. Зато озвучивал «поездку» вдохновенно и убедительно, лучше любого всамделишного мотора. К ружью он относился серьезно, с почтением и опаской – отцовское воспитание. Помнил, что до первого собственного выстрела ему еще расти и расти, а до той поры даже к зачехленному оружию прикасаться не следует. Он, конечно же, был не прочь прикоснуться, но прошлой зимой отца одного из его приятелей искалечили на охоте – в поясицу заряд дроби всадили по неосторожности. Герман Антонович сказал – случайный выстрел, но впечатление осталось пугающее и одновременно гнетущее. К тому же у Антона был свой арсенал, которому иной оружейный барон позавидовал бы. Подумаешь, игрушечный. Все остальное – фотик, портсигар, что там еще? – мишура, не очень для жизни и обязательная. На что, скажите на милость, сгодится тот же портсигар, если нельзя плюхнуть его со стуком на парту и сказать завучу: «На, Ираида, закуривай, не таись!»

Антон видел однажды Ираиду Михайловну через стекло в недалекой от школы кафешке с сигаретой в руке и в компании лысого, дряблопузого химика, обожавшего слово «пикантно» и опыты с кислым запахом. Завуч засмушалась, поймав на себе взгляд мальчишки, и мигом, нервно, – а ученик замер, вылупился, смотрит во все глаза, ничего не упустит – сигарету отбросила, вроде как нет ее. Этот подмеченный, подаренный случаем чужой секретик был явно полезен, Антон это чувствовал, но, чистая душа, представления не имел, как им воспользоваться, где и к чему применить. С трудом одолел искушение раззвонить новость о грехопадении строжайшей из строжайших по всей школе, сохранил ее для себя, про запас, на всякий пожарный и в такой глубочайшей тайне, что даже своему лучшему другу Саньке – ни-ни. Хотя поделиться подмывало невероятно, даже прыщ на языке вскочил, и Антон приписал его собственной сдержанности. Потом надолго забыл об этой истории.

По мере взросления память будет от случая к случаю возвращать его к витринному стеклу той кафешки, побывавшей за минувшие годы и пельменной, и пирожковой, а на старости произведенной в шашлычные. Зачем? К примеру, чтобы рассеять сомнения в том, что учителя тоже люди, а раз так, то и ничто человеческое им не чуждо. Любовь, страдания и, увы, лицемерие. Ни один из школьных учителей не боролся с юными «дымодуями» так жестко и бескомпромиссно, как Ираида Михайловна, она же Выёбла.

На школьном выпускном, куда Антон зайвится по старой памяти, будучи гостем, так распорядится судьба, и тоже выпускником, но уже другого учебного заведения, в другом городе, – завуч сама предложит ему за школой «Трезор» из початой пачки с расквартированными внутри спичками и боковинкой коробка – «чиркалкой»; только женщины способны на такое, наверное, от недостатка карманов.

– Ну, Кирсанов Антон, доблестный суворовец в штатском, угощайся. Теперь всем нам можно.

Но Антон к тому времени уже второй раз бросит курить, а про Выёблу узнает, что умерла ее мама и теперь отпала нужда скрываться, прятаться от нее и вечно хрустеть перед домом ненавистными кирпичиками «Холодка», от которого у Ираиды Михайловны случалась изжога. Мама ее, как выяснится, была тяжелым астматиком и больше всего на свете боялась таких же, наследственных, проблем у дочери. Знай она, что дочь курит, хоть и не часто, умерла бы, возможно, гораздо раньше. Антон всерьез подумает о том, что взрослая жизнь не такая уж легкая. Не такая трудная, как у детей и подростков, это понятно, но, скажем так: тоже очень и очень непростая. А еще он решит, что маму Выёблы, несмотря ни на что, жалко. Конечно, всех, кто умирает, надо жалеть, так учили, но эта дамочка, судя по всему, была с большим «прибабахом». Это словечко напомним, как в пятом классе он задался вполне резонным вопросом – зачем Ираиду так называли?

«По-нормальному, «Ирки» вполне бы хватило. Ирина Михайловна. – рассуждал пятиклассник Антон Кирсанов. – Вон, Иркиной матери из соседнего дома хватило же? Хватило. Нормальная вышла девчонка, компанейская, по деревьям как кошка лазит. Только изо рта у нее невкусно пахнет, но целоваться Восьмого марта можно с другими, подождать, пока ей цветков подарят, а свой подарить Агаповой. На дне рождения тоже отвертеться от целований можно: сказать, что десна нарывает, или про вирус, или дыхание задержать. Ираида же вся в мать получилась, с «прибабахом», недоразвитая какая-то, тощая. Бабушка про нее сказала: «За обои клопы затащить могут, но, видимо, не интересуются». Класс!» Вдобавок ко всем этим рассуждениям он решил развлечься и попробовал удлинить свое собственное имя, придумать на его основе новенькое, не менее заковыристое, чем Ираида. Метод избрал простой – сложение с прочими известными ему именами. Начал с Юры.

Антонюра вышел на первый взгляд благозвучным, на второй – каким-то дворняжким, при третьем проявился амбарный душок и отзвук бесконечных деревенских бабьих переключек. В селе, куда они раз выезжали на лето, днем тетки вот так же не умолкали ни на минуту. Отец сбежал оттуда на третий день, не выдержал. Антон же через неделю запросто распознавал по голосам соседок – Михалну, Никитишну, Петровну и невестку Петровны Катюху. О ней мать говорила «бедовая», и Антон все не знал, как предупредить Катюху о возможной беде. Так до возвращения в город и не придумал. К тому же отец называл свою мать Любаней, и новоявленное имя Антонюра показалось Антону слишком уж близко к бабушкиному, не Бог весть какое счастье. К слову, с точки зрения внука, баба Любаня вполне подходила под свое имя и тщательно мылась каждый день, при этом нещадно расходовала из колонки горячую воду. Колонка была одна на всех. На Антона кипятку еще худо-бедно хватало, а вот мама злилась и выговаривала Любане, в том числе за отца, который, возможно, и не догадывался, стоя под душем, что вода бывает горячей, потому что был, во-первых, закаленным мужчиной, а во-вторых – примерным сыном. Бабушка говорила маме в ответ, что это единственная радость, оставшаяся ей в жизни, то есть безбожно врал! В спальне бабули стоял сундук, в который Антону запрещалось лазать. Он и не лазал, потому что сундук запирался на ключ, и ничего другого не оставалось, как только принюхиваться к щели под крышкой. Пахло из сундука предупреждением «не лезь!» Так мальчишечье обоняние расшифровало полученный носом сигнал. Тем более чертовски захотелось хоть одним глазком глянуть, что там внутри, но ведь замок.

За Антонюрой последовал забористый Антонтоля, которого никак не получалось выговорить без запинки, поэтому он и трети раунда не продержался. Про Антоникиту творец решил, что звучит это имя складно, но длинновато, напоминая название для лекарства. Так сказал Шурка Фишман, а друг и сосед Санька решил, что больше похоже на средство для потравы мышей. Поскольку и сам Антон не восторгался своей творческой находчивостью, дружба выдержала испытание.

Дальше Антон не продвинулся, но все равно вполне мог собою гордиться. Я бы, наверное, находясь в зрелом возрасте и трезвом уме, завис на старте, да так бы там и остался, фантазии не хватило бы завестись. Что поделаешь, детство тоже имеет свои преимущества, причем много и разных. Только двух не хватает: детство не наступает и долго тянется. А старость наоборот.

Короче, поразмышлял Антон о временной безотцовщине, и отец, ни сном ни духом не ведавший о нависшей над его головой отставке, был по- тихому восстановлен в отцовских правах. Реабилитирован. Последним обстоятельством, сыгравшим Герману Антоновичу на руку, а в данном случае уместно даже сказать – решившим его отцовскую судьбу, было то, что ребят из неполных семей учителя и другие родители за глаза жалели, а Антону Кирсанову жалость претила.

Собачье чувство

– Собачье чувство эта ваша жалость. Претит. И вообще, запомните наконец, салабоны, что хороших чувств на букву «ж» не бывает, – с подначкой подучивали несмышленных, вроде Антона, «бывалые» парни из дворовой компании.

– А если жрать хочется? – задал вопрос самый мелкий из слушателей.

– Какой-то ты, чувак, неблагополучный, – сообщили ему. – Не жрать, а кушать. Ку-шать! Усвоил? И заруби себе на носу, жрут собаки.

Так мелкому был преподан урок родной речи, сопровождаемый для лучшего усвоения смачной оплеухой. Он, скорее всего, в тот же миг пожалел, что рано покинул песочницу. Иначе с чего бы еще расплакался?

– Хавать... Хавать тоже можно, не только кушать, – смилостивились другие старшие над ревуном, и тот сразу успокоился. Ему понравилось. По глазам было видно – навсегда запомнил, что хавать тоже можно.

– Веришь? – задали ему контрольный вопрос.

Антон, нутром чувствуя, что это подвох, отвлек мелкого, окликнув по имени, и тот оглянулся, так и не кивнув.

– Во-от. А-а! Настоящий пацан, – похвалили мелкого «ветераны». – Не верь, не бойся и не проси! – одарили его еще одной мудростью, на этот раз подхваченной всеми без исключения учениками, но Антоном Кирсановым в первую очередь.

Если б он мог, то отнял бы эти слова у всех и у каждого, или выменял на что хочешь, и утащил бы домой, чтобы больше никто, нигде, никогда не произносил их вслух. Кроме него. Только так можно было наслаждаться единоличным знанием правил жизни. «Круто зацепило», оценил бы все тот же подростковый наставник, родись он тридцатью, примерно, годками позже. Потом наваждение отошло, как пятно от черешни на белой рубашке – не полностью, но если не присматриваться, то можно и не заметить.

Уже дома Антон, шепотом раз за разом повторяя услышанное, окончательно развеял придавившие его поначалу чары.

– Не проси. – произнес он.

«Это правильно, – подумал вслед. – Тем более, что и выходит фигово, особенно с бабушкой». Но поскольку взять что-либо без спросу он не мог, не рискуя быть пойманным и наказанным, то решил заменить чересчур размашистое и однозначное «не проси» на взвешенное «не выпрашивай», то есть по-своему уgomонил задиристое правило. Его отчасти смутил ущерб, нанесенный поправкой ритму всей формулы, в первоначальном звучании наводившему на мысли о клятвах или заклинаниях. Но распространять обновленное изречение он не собирался, а для себя рассудил: «сойдет с ботиками». Так мама говорила о чулках, прохудившихся и заштопанных на носке или пятке.

«Один, два, максимум три. ну хорошо – четыре раза попросить можно. На пятый раз это будет уже выпрашиванием. А может, и не будет еще, если без нытья.» И Антон легко, в одно касание привел свою жизнь в соответствие к новообретенному правилу.

Насчет «не верить» и «не бояться» он тоже проникся, но не до такой степени. Не потому ли, что отец научил: «Не боится только дерево топора, да и то мы точно не знаем. Может, и убежало бы, не будь корней»? Впрочем, про веру он еще думал. Самую малость. Да и не про веру, а про собаку.

«Если бы у меня была настоящая немецкая овчарка, или даже восточно-европейская, но не колли, и была бы она мне верным другом, как все овчарки, то как бы я мог не верить, что она мне верный друг, если сам это знаю, и все знают? Выходит, что «не верь!» – это неправильно».

Сигарету Антон из протянутой Ираидой Михайловной пачки возьмет, заодно вытащит и спички, и «чиркалку», рассчитывая проявить галантность – и проявит. Сам тоже запалит табачок, но затягиваться не станет, просто будет стоять и пускать дым, изо всех стараясь казаться непринужденным, естественным. В самый разгар странного молчаливого перекура Выёблук окликнут из темноты, она выронит не докуренную и до половины сигарету и тут же прихлопнет ее подошвой. Антон и среагировать не успеет, хотя мог бы и напортачить, кабы бросился услужливо поднимать. В суворовском училище за такой «королевский бычок» запросто можно было разжиться сахаром или сухим компотом. Уходя, Ираида Михайловна небрежно кивнет Антону, прощаясь, и ему покажется, что завуч хихикнула. Но с таким же успехом это мог быть и всхлип. Он еще постоит, покрутит в пальцах забытую завучем «чиркалку», подумает, что неплохо было бы сохранить ее на память, но решит что глупости все это, сантименты, и выкинет. Другое бы дело – зажигалка.

Несмотря на восторг и удовольствие

Несмотря на восторг и удовольствие от игры в казаки-разбойники «по-настоящему», больше Антон «кубанкой» ни разу не рисковал. Он крепко-накрепко прописался среди «разбойников», рассудив, что хорошим людям они совсем не враги, раз уж сам Робин Гуд был разбойником. О том, что и бессарабский бандит Котовский Григорий Иванович думал примерно также, притом вряд ли слышал легенду о благородном обитателе Шервудского леса, Антон Кирсанов в те времена не знал, хотя в Котовского тоже играл.

«Фаза Котовского» наступала обычно в мае, когда всю пацанву стригли наголо перед отправкой в летний лагерь. Антоновы однокашники насаживали на макушки разномастные тюбетейки, не слетавшие даже при резком движении головой. Исследованием этого феномена они и занимались все напролет перемены. Антон был, наверное, единственным в классе, кто не стеснялся своего голого черепа с двумя шрамами от железной детской лопатки – след детсадовской схватки за чужое имущество, точнее – за право безраздельно владеть государственным, игрушечной машинкой с прицепом, собственностью детского сада. От лица государства выступил сосед Антона по спальне, бескомпромиссный крепыш, вооруженный миниатюрным шанцевым инструментом. На несчастье Антона, именно этот урок – не посягай на государственное! – оказался усвоен им крепче других, запомнился, но кто же знал, что вскоре все так переменится. В общем, от тюбетейки он отказывался категорически.

Вплоть до суворовского училища Антон предпочитал обходиться без головных уборов. Носил разве что зимой, когда термометр обрушивался в совсем уж глубокий минус. Во все прочие дни, как только дверь в квартиру захлопывалась за спиной, шапка перемещалась с головы в ранец. Главное, чтобы уши не успели «остекленеть», пока до школы домчишься. Перед школой – опять шапку на голову, иначе кто-нибудь из учителей или техничек заметит и «наступит» предкам. Морока, одним словом. А в суворовском так не забалуешь. Пойдите-ка... Ну да, и в суворовском Антона тоже не обошли проблемы с головными уборами. Да еще какие проблемы! И как только я мог упустить такое? Вот же память... «Жопа, а не рассказчик», – сказала бы бабушка Кирсанова. «Жопа, а не офицер», – переадресовал бы я в отместку эту реплику ее внуку потому, что воспитан и испытываю к старости ограниченный пиетет. Совсем без ответа такой наскок оставить не получается – гордый, наверное.

Форменные безобразия

Форменные безобразия творились с неперенным атрибутом курсантской формы, без которой честь отдавать нельзя, потому как... *откуда ей, спрашивается, чести, взяться, если школьники – убогие салаги гражданские и засранцы – на голову разбили Доблестных суворовцев и с собой унесли их фуражки с алыми околышами в качестве боевых трофеев!* Вот так – курсивной скороговоркой, потому что до слез обидно все это писать как положено, с расстановкой. А офицерам-воспитателям, им наплевать, что семеро против троих в форме, и что из бойцов никто не бежал, отступили в изобретенном по ходу боевом порядке, треугольником, отмахиваясь спина к спине, с двумя смятыми в кисель носами, одним надорванным ухом, вывихнутой кистью, почти не зрячие – глаза заплыли. Костяшки пальцев, локти, предплечья не в счет.

– Это что еще за позорище?! Что за вид?! Почему не по форме одеты?!

Это они, офицеры, о них, о суворовцах... А суворовцы-то, подранки наивные, думали, что они уже дома, среди своих...

Сами попробуйте пережить такую обиду, и чтобы ни слезинки в глазу.

Дело было на дальней московской окраине, в областном городе Калинин, сбросившем, как намокший ватник, большевистское прозвище и нынче известном под девичьим именем Тверь. Там и лупили суворовцев почем зря. Впрочем, случалось, и школьникам доставалось – мама не горюй! Общий счет, однако, никак не складывался в пользу суворовцев.

Потасовки с ними не считались для калининских школьников какой-то особой доблестью. Привычное дело. Именно что рутина. В таких сражениях славу не сыщешь, разве что фуражку форменную. Ну, еще репутацию подлатать, если случилось, что на другом каком поприще проштрафился. Не скажу, как именно складывались отношения молодых горожан с курсантами суворовского училища в послевоенные сороковые – пятидесятые, не интересовался, признаюсь, в голову не приходило попытать ветеранов, но во второй половине шестидесятых драки с «суриками» действительно стали явлением заурядным. Обычная забава, не хуже и не лучше любой другой. Как наведаться на танцы в клуб соседнего района, где тебя не ждут и не любят, точнее – сильно не любят, и вернуться домой «налегке» – без пары зубов. Это если к тамошним девчонкам не примазываться, а попросту засветиться... С девчонками выходило много хуже, зубы «на десерт» вышибали, «комплимент, за счет заведения», – как сейчас бы пошутили. А какие, спрашивается, танцульки без девчонок? Чем ныне часть мужиков бравирует, тогда ведь паскудством считалось. Так что без девчонок никак было не обойтись. Хорошо, если не один пришел, и в памяти более скромных, читай – не таких отчаянных дворовых приятелей, потому как на ногах остались стоять – сохранились понятия верности, взаимовыручки... То есть не бросят... Иначе менты неспешно подтянутся и оприходуют неопознанного – такой фарш из лица с фотографией в паспорте не сличишь – и полуживого, если очень везучий.

Помнится, шутил я про Калинин тех лет: чем на клубных танцульках в соседнем районе за девчонками приударять, проще было дома остаться и заглотив пару ложек крысиного яду, запивая тем, что под рукой. Или на сухую, если пить не хочется. Результат так на так выйдет, но все ж стены вокруг родные и, если нервы сдадут, опять же телефон под рукой. Ноль три. Шутить шутил, но самому, увы, нос четырежды перебили и в нижней челюсти сплошь скобы. Спасибо, в аэропортах не звенят. А тогда счастлив был, как же – судьбу встретил, женился. Пацан сопливый. Знать бы наперед, как недолог и обременителен будет тот брак. В одном старорежимном патриотическом фильме, точнее не скажу, то ли матрос, то ли шахтер рвет на себе то ли тельняшку, то ли спецовку: «За что страдали?!» Это про мой нос и мою челюсть. Это про меня. Это вообще я! Хотя ни матросом, ни шахтером побывать не довелось. Для флота и горного дела – это к лучшему.

Отнимать у суворовцев казенное имущество – фуражки – придумали, я так понимаю, мальчишки из школы номер шесть, из «шестой спец», как ее с пиететом величали калининцы за «углубленное» изучение английского языка, буквально с четвертого класса. Или со второго? Даром, что привилегированная, можно сказать, единственная на весь город. Живой огород из заслуженных учителей и начальственных отпрысков, авангард педагогической науки в масштабах областного центра. По части всевозможных каверз, придумок, огульно и, признаем, не всегда заслуженно аттестованных местной милицией как хулиганские, школа также опережала всех прочих конкурентов, или как минимум не отставала, ноздря в ноздю шли. Этими «достижениями и успехами», которые принято называть сомнительными, мальчишки из «шестой спец» гордились не меньше, чем призерами олимпиад и медалистами, коих тоже хватало – три, или даже четыре мраморные доски, встречавшие школьников в холле, были сверху донизу расписаны золотом и серебром; когда-то ведь были и серебряные медали. Кстати, золото на именах медалистов было светлым, будто подвыгоревшим, и разительно отличалось от червонного, каким были выписаны имена выпускников, погибших на фронтах Великой Отечественной, что, конечно же, было правильно. А может быть, это Антону Кирсанову пришло в голову, что отданную жизнь неверно приравнивать к успехам в учебе даже близко, пусть цветом, и он сам додумал различия? Что ж, я отлично его понимаю.

Добавить к этим тяжеленным доскам еще хотя бы одну – и стены школы могли бы не выдержать, рисковали сложиться, как карточный домик. В этой перспективе снижение успеваемости было не просто оправданно, а прямо-таки необходимо. Но что поделать с инертностью учительского мышления. Оно-то и не позволяло педагогическому коллективу распознать очевидную пользу от падения интереса к наукам и, наоборот, буйного, очень точное слово, роста внеклассной активности. За этой казенщиной – «активность внеклассная» – и скрывались проделки и выходки школьников. Учителя в «шестой спец» были по большей части людьми скучными, приземленными, без фантазии. По одним учебникам жили, по другим – учили жизни других. Разве что двое не подкачали, и еще четверо, примкнувшие к первым двум: учителя труда, физкультуры, рисования, завхоз и два сменных сторожа. Любо-дорого вспомнить, какие новаторские идеи посещали эти смелые головы! С другой стороны, резаться в карты с детьми на деньги для завтраков. Право, не знаю. Ведь сущие копейки выдавали родители на завтраки: гривенники, максимум пятнарики. При этом не голодал никто, а значит – детки отыгрывались. Славная была школа.

И стояла она, где и сейчас

И стояла она там, где и сейчас, наверное, стоит – почти напротив суворовского училища, если оно никуда не переехало, на берегу мелководной речки Тьмаки, хищно тянущей к Волге вонючие мазутные щупальца совершенно невообразимых расцветок. Всего в полукилometре от Волги вверх по течению вороватая и скрытная Тьмака приютила добрых пару сотен простеньких дюралевых лодок с подвесными моторами. Они-то и пускали разноцветные сонные слюни на беззащитную водную гладь. Антон с товарищем как-то попытались поджечь мазутные пятна, но ничего не вышло. Возможно, школа нынче уже гордо именуется гимназией или даже колледжем. Мой внук, когда маленьким был, говорил, что в гимназиях распевают гимны, а в колледжах всем ставят колы.

Кстати, о поджогах жидкостей. Однажды на отдыхе в Гагре я вот также попытался поджечь купленную на местном базаре чачу. Сподобился у какого-то грека приобрести. Скорее всего, грек был понтийским, потому как с «понтами» у него все было в порядке, иначе я бы так легко не купился. Ну и на цену позарился – что правда, то правда, пожадничал. Короток и ценник был рубль отдыхающего младшего офицера. Результат вышел совершенно несостоятельным, но чачу мы с сослуживцами, тем не менее, выхлебали. Не горела, зараза мутная, коробок спичек почти весь извели... Но, что удивительно, крепкой была такой! Почти спирт. Один в один, как та, что грек пробовать нам давал, только та горела. Полыхнула голубым пламенем с первого раза, хоть в зажигалки заправляй.

Ужас вступил в свои права утром и воспользовался ими цинично, бесцеремонно, зло и негигиенично. Это я о головной боли и всех сопутствующих недомоганиях, а туалет, между прочим, на этаже, в торце, и до него было бежать и бежать, не говоря о том, что мы не одни в гостинице, Если оккупированное военными медиками заведение в принципе могло носить этот гордый титул.

Напиток оказался настойкой на курином помете. Говно говном, казалось бы, но на вкус пошло выходит крепче крепкого. Старый трюк. Еще бы знать, как на него не попасться, распознать уж если не состав выпивки, то хотя бы жульническое нутро деляги. Куда уж нам. Проклолись. Администратор гостиницы, спасибо доброй женщине, просветила на будущее, подсказала адресок по соседству, где раздобыть нормальной чачи – здоровье поправить. Будущее оказалось не за горами, намного ближе и наступило через десять минут. Пять из них ушло на жребий, кому начинать, стаканы-то не захватили. Выпало мне, и я еще раз возблагодарил администратора и провидение.

Предыдущий-то вечер, однако, несмотря ни на что – и не горела, и с говнецом – все равно задался! Еще как задался! Нам потом соседи по этажу в лицах события пересказывали, а собственные их лица сочли при этом неодобрением, а кое у кого и негодованием. Думал, что если три четверти наплели, дабы напугать в отместку за ночь с затеями, все равно: «прощай, партбилет, погоны, карьера, до свиданья, друзья мои, медики!» Впереди маячила хлипкая ставка уездного фельдшера, раны рубленные от топоров и аборт по-тихому за сало и яйца. Как о неизбежном думал. Обошлось, на удивление. И от отравы, опять же, не передохли, что тоже случается не каждый день. Еще одна странность. В нашу гагринскую кампанию военврачей – хирургов и ортопедов затесался химик-гомеопат из Сибири. Химик-гомеопат, по моему разумению, это как евнух-любовник, но тот пояснил, что химик – это в кавычках, прозвище, школьное увлечение. Вроде мечтал «альму-матер» взорвать к чертям собачьим, но серы, соскобленной с содержимого десяти коробков, и смешанной с чем-то (я даже не пытался запомнить) хватило только на то, чтобы сжечь брови и запалить чуб. Говенное пошло он расхваливал громче всех, я как-то непроизвольно на него сориентировался: профи все-таки, где гомеопат, там и фармацевт, химик опять же, хотя по всему выходило, что скорей уж сапер.

Утром смотрю на него опухшим взглядом, а он, собака такая, аж лоснится от удовольствия, живой укор. И от похмелки не отказался, за троих принял. С того дня нет у меня доверия к этим шаманам с магическим шаром в кармане: «Попробуйте это снадобье, попробуйте то. Всем до вас помогло, никто назад не пришел жаловаться.» Наверное, большинство хирургов к гомеопатам так относятся, особенно те, что практикуют в травме.

...А мазут на воде – субстанция крайне бесполезная, ни к чему толковому не применимая. Никчемная, одним словом, в прикладном смысле, но рассматривать постоянно меняющуюся цветовую гамму можно часами. Загораживающее, доложу вам, зрелище. И думается во время таких наблюдений прекрасно – неторопливо и ни о чем. Мечта, а не времяпрепровождение. Уверен, что и суворовцы были бы рады отдаться ему в увольнениях, да вот незадача.

Школьники лютовали

Школьники лютовали. Соревновались, кто больше других «срубит» черных фуражек с красным околышем. Состязательность вообще была в то время в почете, чего только мы ни собирали, соревнуясь между собой: металлолом, макулатуру, листья по осени, зимой – снег. Нетронутой оставалась, пожалуй, только дождевая вода. Но одно дело – действовать по принуждению, по команде, под присмотром учителей, и совсем другое – когда сами придумали, забавы ради. Никаких стенгазет, грамот в «красных уголках», все исключительно ради удовольствия. Как деньги на мороженное откладывать со школьных завтраков, я их, завтраки, помню еще по десять копеек, потом по пятнадцать. А мороженное – по семь копеек. Кажется, даже за четыре было. Или мы с товарищем вскладчину брали за семь, одно на двоих? Раз я помню про четыре, значит он обычно давал только три. Вот же жмот! Почему у великих не хватает ума сделать удовольствия олимпийским видом спорта? Валяешься себе на пьедестале важно и в то же время в неге под гимн отечества. Еще было бы здорово получать награды и надбавки за хорошую память на пустяки.

Обе стороны ждали воскресений. Порознь, разумеется, и совершенно по-разному. Школьники предвкушали триумф и добычу, суворовцы же пребывали в тоске и во власти пораженческих настроений. Плохо, угнетенно чувствовали себя суворовцы. Всю неделю они придумывали, как бы увильнуть от увольнения в город, дабы избежать постыдного возвращения в расположение училища мало что битым, так еще и в неполной форме. Суворовское училище, не надо иллюзий, было армией, пусть и с малозаметными поблажками, во всяком случае, они не касались формы. Проступок такого масштаба срывал лавину административных и воспитательных мер – от мучительных допзаниятий по строевой и физподготовке до позорных карикатур в стенгазете. Карикатуры в большинстве своем были дурацкими и неумелыми, персонажи неузнаваемыми, поэтому их подписывали фамилиями проштрафившихся.

– Похоже любой дурак нарисует, а в нашем деле что самое главное? Правильно: заставить задуматься. В этом смысл, – обучал Антона основам пропагандистского мастерства и, не исключено, конспирации редактировавший стенгазету тощий и близорукий журналист-недоучка, солдат срочной службы, прикомандированный к училищу для самых разнообразных нужд. А возможно, просто сосланный сюда за неуместность в боевых частях. Вызывавшие несварение карикатуры были делом его рук.

Антон с ужасом отмечал беспросветность происходящего. Он делился с товарищами худшими опасениями, и те искренне и очень эмоционально их разделяли. Так по училищу поползли тревожные слухи, будто в недалеком будущем его расформируют как стыд и позор всех вооруженных сил, больше того – страны. Неприятности были поставлены на конвейер, и он двигался, неутомимый, как эскалатор с метро, и все в одну сторону – вниз.

Бесспорным преимуществом пострадавших в драках со школьниками и лишившихся форменных головных уборов был запрет на увольнение в следующий выходной, а то и на два вперед, но такое счастье привалило лишь одному из соратников Антона Кирсанова, он еще и ремень в драке потерял. Об остальных заботливое начальство мудро подумало: «Пусть привыкают. Жизнь долгая и жить ее, хошь не хошь, а придется среди людей».

Отмена увольнений в город была тайной мечтой всех, или почти всех. Чувствительное к настроениям подчиненных начальство злонамеренно ослабило удила, только что не попустительствовало нарушителям распорядка дня и всех прочих распорядков, ибо жизнь суворовская «распорядочена» до невозможности. Только совсем уже отпетые разгильдяи, «жопы, а не суворовцы» могли рассчитывать остаться на территории – и тут уж не чурались любой работы, радовались ей, как никогда раньше – ну и те, разумеется, кому выпал к десятке туз – служба. Дневальным, дежурным завидовали больше всех. Воздух до невиданной доселе плот-

ности насыщался вопросами «Почему не я?», а отмеченные счастливым жребием тщетно скрывали радость, повязки на их руках семафорили ярко-красным: «Я избранный!»

Антон Кирсанов, к слову сказать, лишился фуражки одним из первых, ухо надорвали как раз ему, и закончилась вся история на одном-двух инцидентах, уже бы забыл о неудаче, окончательно и бесповоротно, чего о ней помнить. Но каждый выходной оборачивался новым напоминанием и о травме, и об утрате и, конечно же, о нагоняе, что схлопотал от начальства со всем присущим начальству размахом и основательностью.

Первой тройке «бесфуражечников», в самом деле, сильно досталось. Не привыкли еще наставники-командиры к таким новостям, не притерпелись, вот и посетила их непреодолимая нужда высказаться. Выражений офицеры не выбирали, насчет жизненных перспектив страдалцев ничего скрывать не пытались, живописали, что называется, от души. Над всеми последовавшими за Антоном со товарищи жертвами начальство училища также учиняло расправы немилосердные, не сдерживая себя в словах, но такого запала, как в первый раз, уже не было. Впрочем, суворовца Кирсанова, ухо которого зажило быстрее душевной раны, отчасти утешило, что в принципе вниманием не обошли никого, всяк свое получил. Так, несмотря на кажущуюся обреченность попыток решительно отмахнуться от дурных и тревожных мыслей, гнать их от себя куда подальше, переживания Антона не избежали влияния времени и чужих бед. Они потускнели и утратили изначальную рельефность и остроту. К моменту, когда отъём «городскими» фуражек стал чем-то сродни эпидемии, а начальственный гнев привычным, знакомым в деталях, Антон уже примерял на себя роль «гуру» в стане новичков, по-первости сильно переживавших от происходящего. Бывалый боец, ветеран сражений со школярами, он выслушивал их истории с неизменной grimасой скуки на лице: «Вы *мне*, что ли, будете рассказывать? Да с моего кепаря вся заваруха и началась! И вообще я забыл больше, чем вы за жизнь выучили».

Антон матерел, а бесчинства школьников все продолжались. В суворовском календаре по-прежнему не было дня ненавистнее, чем воскресенье. Мальчишек в отутюженной форме подлавливали на аллеях городского сада, затаскивали в кусты и за деревья на набережной, в узкие подворотни старого мещанского центра. Били толпой, на самом деле не сильно, больше было животного страха и крови из неопасных для жизни мест. Нападавших интересовала только добыча – фуражки, за них и плющили суворовские носы. Надо заметить, многим из обреченных на увольнение все же удавалось вернуться в училище без потерь – кто-то на глаза шпане не попался, отсиделся в ближайшей кондитерской на подоконнике, завистливо косясь на эклеры с картошками и ром-бабами, хотя только что употребил на такие же всю без остатка заначку. Военная форма самым причудливым образом влияет на аппетит, растяжимость желудка и толкование слова «впрок». Как-то так годами позже они лейтенантами и старлеями будут сживать компаниями на казенно прибранных кухнях: «Кто знает, когда в следующий раз соберемся, давай откупоривай еще одну, чё тянуть.» Другие суворовцы отбивались от школьников, отчаянные и везучие тоже.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.